

Илья Оказов

## ВОКРУГ ШЕКСПИРА

Домыслы

1990

Оглавление

<b>ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАКБЕТ!..</b> .....	2
<b>ДОЖДЬ</b> .....	9
УБИЙЦЫ .....	14
<b>ПРОКЛЯТИЕ ПЛАНТАГЕНЕТОВ</b> .....	15
КОРОЛЬ ДЖОН .....	19
<b>ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОКОЙНОГО</b> .....	20
<b>ДРУГОЕ МЕСТО ПОЛЯ БОЯ, ИЛИ КТО УБИЛ ТРОИЛА?</b> .....	25
ПОСЛЕ БУРИ .....	27
<b>ЦИННА-ПОЭТ</b> .....	29
<b>МИРОТВОРЕЦ</b> .....	32
УЧЕНИЦА .....	38
<b>НАСЛЕДНИК</b> .....	39
НОВЫЕ ВРЕМЕНА .....	43
<b>НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ</b> .....	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	50
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b> .....	52
Жизнь – как будто хроника Шекспира, .....	52
ЧЕСТНЫЙ ЯГО .....	53
ФРА ЛОРЕНЦО .....	57
ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ .....	59
ВОЙСКАМ ОТКРЫТЬ ПАЛЬБУ .....	60
МАСТЕР .....	63

## ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАКБЕТ!..

*ГЛЕНДАУР:*

*Я духов вызывать могу из бездны!*

*ХОТСПЕР:*

*И я могу, и каждый это может.*

*Вопрос лишь в том, появятся ль они?..*

### ГОЛОС БАНКО

Я любил Макбета, как брата, как себя самого. И вместе с ним любил я и его пса, его коня, его жену... Я делал все, что мог, чтобы удержать происходящее, чтобы законный наш государь король Дункан, прибыв в Инвернесский замок, не прикоснулся к законной жене Макбета. Но для королей тогда, как и теперь, уже не было законов и еще не было приличий – они не интересовались ласточками и галантными беседами. Дункан заметил мои старания; потому-то именно через меня он даровал леди Макбет тот двусмысленный брильянт – свою плату.

Я любил Макбета, я видел все, что видел он сам – даже его ведьм, слышал их пророчества и верил им, как он. Да, Макбет, король грядущий – на это он был обречен, но грядущая династия должна была пойти от меня. Может быть, мне следовало сделать так, чтобы она считалась Макбетовой – потомство его жены, лучшей женщины в мире (потому что она была его женою) все бы сочли за его, Макбетово потомство... но, во-первых, я не решился бы на такое, а во-вторых, один человек не поверил бы в это никогда – сам Макбет. Мой род должен был взойти на престол иначе... как жаль, как, в сущности, жаль!

Но потому я и отправился домой после того страшного, мучительного, разлучного разговора с ним о сотрудничестве; потому и возвращался к королю, на верную смерть, вместе с единственным сыном моим, Флинсом. Сам я лишь сокращал себе муки совести и одиночества, ибо без Макбета, вне Макбета не было надежды выжить, откуда бы ни пришла смерть – от ножа подосланного убийцы, от яда, от боли. Но я верил – знал! – что Флинс не погибнет со мною, иначе не исполнилось бы пророчество, которое я слышал ушами Макбета – что род Банко будет царствовать в Шотландии. Я не сомневался, что сын уцелеет, хотя и не знал – как. Почему же я тогда взялся доставить его ко двору короля? Простой и странный для многих ответ: я хотел, чтобы Флинс заменил меня для Макбета. Так и случилось – как это ни нелепо звучит, – после того как мне не разрешили выйти отсюда, чтобы хоть в виде призрака, видимого лишь ему, взглянуть в последний раз на того, кто был мне дороже всех...

### ГОЛОС ЛЕНОКСА

Да, странный был пир с привидением и страшный – не только для Макбета, для меня, для всех – тоже. Как только на королевском застольном месте появился неизвестный юноша и король спросил:

«Кто это сделал, лорды?» - я оцепенел, как и все: мы не знали, кто это сделал, нам пришлось притворяться, что мы ничего не видим...

ГОЛОС РОССА

Не впервой. Храбрый мальчик.

ГОЛОС ФЛИНСА

Да, это был рискованный шаг. Я ведь едва спасся от наемных убийц, они могли нести караул в пиршественной зале... К счастью, этого не случилось, а из остальных никто никогда не видел меня и не мог узнать... даже Макбет. Он ведь узнал не меня, а, как я и думал, отца во мне – Макбет рос с ним вместе, он помнил Банко молодым и принял меня за его тень. Сам не знаю, зачем я сделал это, почему решился на такую безумную авантюру, но она оправдала себя – Макбет надломился.

ГОЛОС БАНКО

Как я завидую тебе, сын. Не короне, а тому, что ты успел увидеть его. Ты, ненавидевший Макбета, а не я – любивший. Странная штука жизнь... и смерть.

ГОЛОС ЛЕДИ МАКБЕТ

Ты знаешь, Банко, как любила его я – здесь мы могли бы потягаться. Ты не пожелал делить с ним власть и гнет власти, оставаясь рядом с черным факелом его судьбы... А его судьбою была я, я, а не волхвующая старуха, которой он бредил – и, как видно, бредил с ним и ты. И поэтому я хотела добыть ему все лучшее, что могла. Ведь на ком он женился, кто я была такая? Соломенная вдова с двумя годовалыми бастардами от Дункана – это началось еще тогда... Дети умерли, но я уже была женою Макбета. Не думайте, что это была «королевская воля» - нет, Макбет сам этого хотел, и я тоже хотела – его, самого смелого, сильного, властного человека в Шотландии. А о пророчестве ведьмы я узнала нечаянно, не оно было у меня на уме, когда я перерезала горло Дункану от уха до уха и приказала умертвить двух сонных от макового зелья телохранителей. Нет, не пророчество, и не видение слишком гордой головы, только от сивиллы желающей узнать свою меру – не пророчество, а месть за то, в чем я не могла отказать – государю. Отцу моих умерших близнецов...

Я надеялась в ту страшную ночь в Инвернессе (еще до того, как казнила Дункана), что я должна зачать от него, ненавистного и венценосного. Макбет поверил бы и утвердился, наконец, в том, что он – может, это так мучило его всю жизнь, а его наследник, тот ребенок Дункана, который должен был бы родиться, оказался бы и по крови законным наследником: я скрыла бы то, что знала, но добилась бы этого любым путем...

И я сделала Макбета королем – не для того, чтобы стать королевой, нет, я никогда не стремилась к власти, я ни разу не произнесла, не подумала слова «королева». Я лишь ждала, чтобы

мой сын родился законным королем. На первый перстень я подарила бы ему тот, слишком памятный мне бриллиант.

Может быть, ничего этого не надо бы говорить, но ведь началось все из-за меня, я и отвечаю за все.

Дункан умер. Мальчик не родился. А Макбет стал другим человеком – только я и, может быть, Банко знали, что он – тот же, что и прежде, только сильнее... Мальчик не родился – тогда-то я и обезумела. В один из дней десятого месяца я умерла – очень не вовремя, как счел Макбет. Кто знает? Я бы тоже предпочла умереть чуть позже. Вместе с ним.

#### ГОЛОС ДУНКАНА

Ну вот, пошло: все любят, все жалуются, хотя кому жаловаться, как не мне! Право, даже странно... В конце концов, я король, можно было бы и дать мне говорить первому, как в списке действующих лиц, где всякие леди – в самом конце. Так ведь нет – и все из-за трех сделанных мною ошибок!

Да, я совершил три оплошности, две из которых едва не погубили всю страну, а третья – погубила-таки меня самого.

Первая состояла в том, что, видя головы Макбета и Банко, возвышающиеся надо всем двором и дружиной, Мы, Божией милостью король Шотландии, не отсекали их. А ведь Наша венценосная голова должна была оставаться единственной – и только Нам и надлежало быть выше остальных как раз на эту голову.

Дело в том, что я боялся своего родича Макбета, по лестничному праву долженствовавшего наследовать престол – и вот, после победы над Кавдором, Мы даровали ему титул Кавдорского тана – и слишком поспешно отменили древнее законоуложение и объявили наследником Нашего сына Малькольма. На него можно было положиться, он прекрасно отвлек бы на себя раздражение Макбета... если бы тот не был раздражен так сильно. Ведь брато-, а тем более кузеноубийство в сени престола в наши времена были явлением обыденным, а вот отцеубийство ради скорейшего приятия родительской короны – это бы уже навлекло осуждение всех соседей даже на такого бессердечного себялюбца, как сын Наш Малькольм.

В общем, я думал, что они будут грызться между собою, а меня оставят в покое...

Но тут сказала моя третья ошибка: я полагал, что леди Макбет почти не изменилась за эти годы негласной нашей разлуки. А она очень изменилась – не столько внешне, сколько изнутри, с той стороны души. Когда-то она любила меня и словно светлее становилась в близости, эта девочка. Увы, в тот жестокий день она впустила меня, как привратник, отдалась горячо – но словно бы не мне, а кому-то другому, неизвестному... А немногим позже, пока моя подпоенная стража почивала, как два сурка, леди Макбет заколола меня моим же кинжалом.

Но ведь я был совершенно уверен в том, что она меня любит! Тем более что я подарил ей такой красивый бриллиант...

#### ГОЛОС ЛЕДИ МАКДУФ

Нас с сыном принято считать проходными персонажами в этой истории, как бы наглядными картинами зверств Макбета. Это совсем не так. Во-первых, именно наша гибель положила начало крушению и гибели самого Макбета – если верить пророчествам так, как верил он, то для рожденных женщиной, пока Бирнамский лес не сойдет с места, король действительно был неуязвим... не телом, а душевно. Сломить Макбета могло только то, чего он боялся – а после смерти Банко он не страшился никого и ничего, кроме того, что услышал в пророчествах, увидел в видениях, что он принял и подтвердил как правила игры «Да здравствует Макбет, король грядущий». Он был лучшим бойцом, чем мой муж, и легко одолел бы его в поединке, если бы это входило в правила его игры – но оказалось, что, следуя им, Макдуф обязан был стать его убийцей. Я не люблю кровопролития. В отличие от мужа, я рада, что Макбет – бездетен.

Что я хотела бы знать, так это почему Росс, спеша в Англию, завернул к нам в замок предупредить о том, чему ни мы, ни он не могли бы воспрепятствовать... и, кажется, описал Малькольму нашу гибель, как очевидец.

#### ГОЛОС РОССА

Миледи, я старый человек, я слишком хорошо знаю то, что вы называете «игрою», а другие – «нравами»: я обязан был вас предупредить, хотя бы только для очистки совести по дороге на Юг. Что же до того, о чем я рассказал королю (законному, не более – Малькольму Безземельному), то я навидался в жизни столько подобного, что могу описать такую процедуру с доскональной точностью...

#### ГОЛОС ЛЕДИ МАКДУФ

Но не только для того, чтобы умереть и сдвинуть первую крупинку камнепада, мы оказались на сцене ровно в середине этой истории. Мой мальчик спросил: «Что значит – предатель?» А ответ на это куда пространнее, чем та отговорка, которую успела произнести я. Макдуф предал нас с сыном, Макбет – Дункана и Банко, Банко – леди Макбет и самого Макбета, которого пережить не мог бы, беглые таны и принцы – страну и так далее. Это – трагедия предательства. Я это знаю – я сама дала сыну погибнуть прежде меня. «Меня убили, матушка, спасайтесь!» - этот крик, крик единственного, кто понял, кто посмел спросить «что такое – предательство?» слышен мне и до сих пор. Дорогая цена за знание правил игры...

#### ГОЛОС МАЛЬКОЛЬМА

Мы, Малькольм, Божией милостью по крови и закону государь и король Шотландии, соизволяем ответить на ваши вопросы.

Воистину, вор и злодей, бывший Гламисский и Кавдорский тан отца Нашего, Государя и проч. Дункана (канонизация коего как страстотерпца обсуждается ныне по предложению короля Англии и

проч. Эдуарда) – итак, отца Нашего лукавством и коварством залучивши в замок свой, жестокою смертью погубил. Посему младший брат Наш Дональбайн, правом на престол не обладавший, вынужден был устремить корабли свои в Ирландию, Мы же – стопы свои в Англию, дабы добиться возмездия вышеупомянутому Макбету – погубившему, исключая даже отца Нашего, короля и государя своего, великое множество достойных танов и семейств их. За Нами же последовали на Юг многие верные своей присяге таны, ныне получившие графский титул. Вслед за тем, заручившись поддержкой короля Английского и проч. в лице славного воеводы Сиварда, вместе с юным сыном его и доблестной дружиной, – Мы сокрушили воинства и оплоты коварного злочинца Макбета. Затем, наградив либо покарвав, согласно заслугам их и порокам, наших подданных, Мы мирно воцарились в процветающей Нашей державе в мощи своей и столь же мирно правили до того печального недоразумения и самочинства доблестных английских гарнизонов, каковое погубило род Дункана и нас лично...

#### ГОЛОС ЛЕНОКСА

Что касается лично меня и моих отношений с Макбетом, то я всегда был осторожен и предусмотрителен. Макбет же не столько заблуждался, сколько сам создавал, утверждал, способствовал заблуждениям. Я помню, как в моем присутствии он беседовал сам с собою на четыре голоса и много других странных случаев...

Из всех предавших Макбета (я не считаю казненных Малькольмом, он просто добывал себе средства на расплату с англичанами) я был последним. Я отнюдь не любил Макбета, я не извращенец, но я сделал на него ставку. Только когда его корона засияет над Шотландией, казалось мне, вторым человеком – чуть-чуть, на дюйм вторым, – окажусь и я. Я служил Макбету честно еще до того, как он сделался королем; я обращал его рассеянные мысли в четкую систему и точное дело (именно так погибла семья Макдуфа; видит Бог, знай я, чем это обернется, никогда не пошел бы на столь бессмысленную жестокость по отношению к заложникам). Именно поэтому, благодаря взявшемуся невесть откуда убийце, удалось устранить Банко и упустить Флинса. Для короля это было бы доводом, что и он, бездетный, останется королем до самой смерти. Когда он произнес «Змея убита, но змееныш жив», голос его казался почти ликующим.

Я делал то, что подразумевал Макбет. Увы, не всегда удавалось точно уловить блуждающие мысли короля, и все же я служил ему опорой: моя деятельная жестокость оправдывала для Макбета его собственную, словесную или мысленную. Таких людей, как я, тираны терпят при себе и боятся потерять: это не какой-нибудь Макдуф, умеющий только драться, не думая о заложниках и поддакивать любому, самому противоречивому суждению.

Когда я понял, что Макбет едва ли продержится при вторжении англичан, ибо весь цвет нашего рыцарства качнулся к Малькольму, я подождал некоторое время и примкнул к большинству. Я был

уверен, что Дональбайн мертв... Но предать Макбета все-таки последним – это немало значило; в поход ни Малькольм, ни Сивард меня не взяли, напротив, оставили в одной из лучших камер в лондонской темнице. Вот там-то я мирно и прожил все последующие войны и падение Макбета, Малькольма, Дональбайна, а потом был освобожден как убежденный противник кровавого Дунканова рода и сделался первым королевским советником. Рано или поздно умный человек будет оценен по достоинству.

#### ГОЛОС ДОНАЛЬБАЙНА

Я никогда не оценивал свои способности особенно высоко. Я от рождения неудачник. Клеймо злосчастья, как выразился бы мой недобрый брат, запечатлено на моем челе. Тяжелые роды – отсюда хромота. Положение младшего в семье: никто, ни я сам, ни отец, ни тем более Малькольм (я правильно сказал? Мне сложно говорить на этом новом наречии), коварный змей, никогда не допустили бы и мысли о том, что престол займу я. После гибели отца я сразу понял, кто еще останется в живых, а кто – нет, и прямо сказал об этом брату. Тот дал мне возможность эмигрировать (я правильно сказал?) в Ирландию, а сам отправился на Юг, заручился подмогой короля Эдуарда и во главе англичан, как бурный вал на берег, обрушился на пределы своей родины! Он короновался в Сконе! Он даровал даже своим сподвижникам титулы каких-то графов вместо чести носить высокий титул шотландского тана! Он отдал державу на разграбление южанам, он казнил достойнейших людей наших, дабы (так?) завладеть их имуществом!

Такого надругательства над честью и родовой гордостью отечества я, конечно, не мог стерпеть: король Ирландский снарядил корабли со множеством дружинников мне в помощь, и мы сошлись с братом в бою, как два льва. Я занял Скон и был венчан отцовским венцом. Я предоставил своим ирландцам удовольствие добивать англичан, сам же удовольствовался головою Малькольма. Еще в день предпоследней нашей встречи, близ тела отца, я предупредил его. Разве я виноват, что мне повезло... тем более так ненадолго... я правильно говорю?

#### ГОЛОС ФЛИНСА

И вот долго после гибели отца я, избранник Господа и народа Шотландии, был вынужден скитаться в горах, где, впрочем, оказался отнюдь не одинок: сюда стекались изгои, преследуемые Дунканом, Макбетом, Малькольмом, Дональбайном – весь народный гнев, вся мощь возмездия!

И молвил я: братья мои, истинные сыны отечества! Ныне я, Флинс, сын Банко, призываю развернуть наши стяги, дабы сокрушить как престолохищника, коварного хромца Дональбайна, так и грабительские английские своры, рыщущие вокруг по землям, захваченным ими либо дарованным предателем народа Малькольмом, ныне падшим. И долг наш – истребить эти полчища, за исключением самого вожака их, Сиварда, и тех южан и ирландцев,

выкуп за которых поможет подняться из праха и крови нашей великой и единой Родине.

И в час последней, сугубо кровавой битвы между войсками Сиварда и дружиною Дональбайна, когда истощились силы и средства обеих сторон, я с вольным и гордым, истинно шотландским по роду и духу воинством обрушился на этих хищников, как царь давит с круч гелвуйских, и мы разбили, и разгромили, и казнили, и пленили, как это было предусмотрено согласно Нашему замыслу.

И, стряхнув окровавленные оковы, расправилась и преисполнилась всяческих благ земля наша, и бароны, таны, графы и священнослужители признали Флинса достойным власти над нею, и были Мы коронованы в Сконе, и от Нас и отца Нашего, великого Банко, простерся в века королевский шотландский род, во исполнение пророчества трех Мойр, или Парок, или сивилл, данного в давние века.

#### ГОЛОС МАКБЕТА

Во всех словах, сказанных вами, скрыта правда, стройная, как арка римских времен. Но замковый камень ее – у меня, и я не допущу до него ни единого из вас...

*(возражение следует)*



## ДОЖДЬ

*Разговор, произошедший в трактире «Слон»,  
в столице герцогства Иллирийского,  
между одним шутом и одним моряком в плохую погоду*

Ну что, синьор Антонио, согрелись? Вот так-то лучше. Хоть и дрянная в этом «Слоне» сливянка, даже в Индию не захочется, а всё приятнее сидеть в тёплом трактире, чем под дождём на крылечке – а ведь дождь что ни день, то опять! Праву, как только я увидал вас – лицо в ладонях, колени в стороны, шпага торчит, как сломанная, сразу решил: «Ну, Фесте, берегись! Подзовёт тебя сейчас синьор меланхолик и прикажет петь какое-нибудь “Прилетай ко мне, Смерть, прилетай”, вроде герцога Орсино. Ничего, что я его помянул? вы же вроде помирились.

Ну вот, подхожу я поближе и гляжу: кто же это сидит такой бледный? для сэра Андрея – кудряв, для придворного – тощ, для бравого офицера – уж не обессудьте, совсем не бравый был у вас вид. Ладно, думаю, наверное, проигрался заезжий купец, оплакивает наперегонки с дождиком свои денежки; ну так надо ж и ему под крышу – простынет ещё, и все его кредиторы с зависти лопнут, а куда в наше время без кредиторов да ростовщиков денешься?

Ах, вы не любите про ростовщиков? Да-да, помнится, ходили слухи, что когда-то вы были богатым купцом в Венеции и так с ними не ладили, что бросили всё и ушли в пира... в мореплаватели, я хотел сказать – уловлять человек под парусами. Занятие это не по мне, честно скажу – слишком уж мокрое дело, но понять понимаю: и меня самого когда-то по судам затаскали. А у вас в Венеции, говорят, и в судьях-то женский пол заседает... ну что вы, зачем же так ругать этот самый женский пол: кто-нибудь за столиком по соседству услышит и примет на свой счёт, то есть на счёт своей дамы, а насчёт дам все сейчас очень щепетильные – потому как на их счёт едят и пьют, вроде как сэр Тоби... вы же знаете сэра Тоби? Кстати, как сэра Андрей спился, Тоби наш совсем заскучал, даже похудел – ну, оно и понятно, теперь ему от графини-племянницы не густо перепадает, новый-то барин хоть и молод, да прижимист, видно, что не золотые пелёнки в детстве марал...

И о нём не хотите? А мне казалось, что он как раз очень вам прежде по душе был, наш синьор Себастьян, будь он неладен. Помнится, две недели назад, как только он появился, вы бегали вокруг этого самого трактира, как зимний волк, и всё твердили: «Ну чего этот Себастьян, этот проклятый мальчишка, это милое дитя, опаздывает, как баба, бедняжка, не стряслось ли чего с ним?» – и бранились так, что вас даже стража узнала по выражениям и на хвост села... И потом, когда приняли его сестрёнку за братка в гостях у графини, – она тогда как раз с сэром Андреем повздорила,

бросились защищать, аки лев рыкающий венецийский... Ах да! он же вас тогда и обидел, не знаю да не знаю этого человека, и знать, мол, не знал – я аж петухом пропел на третий раз-то. Ну так ведь тут не Себастьянова вина, раз это не он был, а Виола: она же вас и правда не знала, не говоря о том, что теперь сделалась герцогиней. Что ж тут обижаться?

Ну да, ну конечно же, я ничего не понимаю, на то я и дурак, что ни день, то опять. Но вы ведь умный человек, синьор Антонио – мне-то, дураку, виднее. И не надо спорить, а то поспорите – со мною и графиня не всегда спорить решалась; впрочем, если желаете развеяться, как она... Но Оливия-то не с тоски, а просто от скуки, развеивалась, а вам... Ну что вы, что вы – она-то перед вами чем провинилась? Батюшки мои, перестаньте немедленно, а то вас сочтут за ещё не раскаявшегося пирата и отведут в участок. Ах, вы не в этом раскаиваетесь? Бывает. Не покаешься, как я говаривал, когда в попах служил, не спасёшься, только я думал, вы уже спаслись, и начал было радоваться – а нам, шутам, это вообще-то не свойственно; ан глядь – ещё спасаться собрались, словно наш богомол в жёлтых подвязках...

Ну что стряслось, синьор Антонио? Я, конечно, только шут, но на то и шуты, чтоб людей утешать – дурак на дурака посмотрит и решит, что умный; меланхолик песенку послушает и подумает – тоже что он выдающаяся личность, а не просто какой-нибудь, скажем, герцог Иллирийский; а совсем бедолага, вроде сэра Андрея, хоть тому порадуется, что не горбат.

А уж как он горевал, когда графиня-то Оливия у него меж пальцев проскользнула! Сидит вот тоже бледный, как привидение, под левым глазом фонарь, который Себастьян поставил, между ног шпажонка его тощая зажата, не поймите неправильно, и плачет, как маленький: «Ну зачем же графинечка так со мною обошлась? Я ли не красивый, я ли не героический, я ли не лучший танцор во всём мире? Обещал ведь ты мне, Тоби, обещал, а теперь?» – а сэр Тоби с таким же точно фонарём, только ему Себастьян его под правым глазом зажёл, ворчит: «А почём я знал, что явится из моря такой Анадиомен и скок за мою девчущку? Да ещё и выговаривает мне – а я ему в отцы гожусь, сосунку, что, мол, много пить – здоровью вредить. Я уж море такого хереса вылакал, когда он ещё только мамкино молочко причмокивал, а тут ещё яйца стали кур учить». – «Ну, – говорю я, – если уж вы, сэр Тоби, курица, то я не знаю, кто здесь питух». Слово за слово, стаканчик за стаканчиком – глядь, повеселел сэр Андрей, машет своими членистоногими конечностями в огненном шелку и заявляет, что уедет отсюда к чёрту, к дьяволу, в Рим, в Мадрид, в Лондон, в Индию или в обе сразу, и там женится на королеве... Ох, думаю, королева-то сейчас только одна в девках сидит; ну, конец пришёл бедной весёлой Англии, шиш теперь про нас там пьесу напишут. Так нет, передумал. Сейчас, кажется, к вам в Венецию собрался – слышал, что там какая-то знатная дама, вроде нашей графини, и вовсе арапа полюбила, так что там любовь особенно зла, любят и нашего...

Или о Венеции вам вспоминать неприятно? Ну, нет так нет, хотя уж не знаю, чем вам так могли насолить эти кредиторы – неужто злее наших, иллирийских? А-а, в друзьях разочаровались... понятно, со мною тоже так случалось. Друзья, говорите, сперва помогали, вы им, они вам, погромами развлекались и всё такое, а потом вдруг сами к суду тягать начали за долги? Да ещё и супруга у этого вашего супостата все законы знает? Ох уж эта эмансипация, всегда мне не по душе было, когда женский пол в штанах ходит – это вот наш герцог пленился, ну да ему ничего больше и не оставалось. Я хоть и шут, но отчасти его понять могу – Виола эта и красавица, и умница, и весёлая, и главное, одна на всём белом свете даже рядом с герцогом Орсино не скучает; мне бы так – я б уже у самого Папы Римского в шутах ходил... И ножки у неё, надо признать, даже в штанах ничего себе... Как, и о ней нельзя? Ну о чём же с вами беседовать, синьор капитан? Чем Виола-то вам не угодила? Неужели всё из-за той дуэли?..

Ну ладно, ладно, не понимаю так не понимаю, я дурак, мне можно. Только вы бы лучше поостереглись, синьор Антонио, как бы кто-нибудь другой вас не раскусил – мало ли что...

Да ничего я не имею в виду, просто когда бравый мореход слоняется вокруг графской усадьбы с постной физиономией, жуёт кусочек крокодила и бормочет себе под нос сонеты о неблагодарном мальчишке, которого от смерти спасли, а он сделал ручкой, под венец – и только: «Ну что ты расстраиваешься, всё ведь в порядке, всё хорошо, что хорошо кончается!» – это очень огорчительно выглядит, и графиня нервничает...

Ну, плевать вам на неё, допустим, ещё не приходилось, да и не стоит – она тоже женщина несчастная... Как – почему? Вы думаете, раз отхватила она это сокровище, Себастьяна, так ей должно уже быть и небо в алмазах? Ох, капитан, не мне, дураку, вас учить, но не понимаете вы женщин – Оливия ведь не дура, и это самое небо ей сейчас с овчинку! Ей тоже обидно – сделала глупость и досадует, вроде вас. Какую глупость? Любопытный вы человек, синьор, а я всё-таки шут, а не сплетник... Ну да ладно, вам объясню, чтоб не дулись на неё, как мышь на крупу.

Вы что же думали, она так до самого того раза, как вы при дворе-то амнистию получали, и не догадывалась – кто такая Виола, то бишь кто такой Цезарио? Да тут слепым нужно быть или влюблённым, как герцог или Мальволио, не про вас будь сказано; или уж пьяным вдрызг, как сэр Тоби к вечеру... Женщина женщину всегда угадает, вот и графинечка – угадала. И очень тогда обрадовалась: ведь у нас как всё было? Всё дождь, да скука, да брат у неё помер, бедняжка: хороший был человек, в Вероне при дворе околачивался, тоже, кстати, вроде вас – в чужую дуэль вмешался, тут его, говорят, и закололи – ну уж не знаю, правда ли, за что купил, за то даром и продаю. И ко всему этому ещё герцог сватается что ни день, то опять. А ведь скажу вам по совести – хотя мы теперь оба люди лояльные, но мне можно, я дурак, – во всей Иллирии не найти такого зануду, как наш герцог. Он достойный человек, честный и

там великодушный, но ничего не поделаешь, меланхолик – и не как вы, временно, а всю жизнь. И вот решил влюбиться в нашу Оливию. А она его, разумеется, видеть хочет не больше, чем вы, например. А сказать ему прямо: так, мол, и так, скучно с вами – тоже нехорошо получается, всё-таки герцог, мало ли что. Они, меланхолики, разные бывают: вот заезжал сюда один актёр, рассказывал, что где-то там на севере, в Швеции, кажется, тоже один принц был большой меланхолик – так он ужас сколько народу поубивал, а девушку, которая ему приглянулась, в монастырь отправил. Только в монастыре нашей Оливии и не хватало!.. Так что оплакивает она брата, а Орсино не отстаёт.

И вдруг, как снег на голову – эта самая Виола: без кола без двора, ходит почему-то в штанах и притворяется мальчишкой, а сама красавица, умница и поговорить с нею есть о чём. Даже с его светлостью ладит почти не хуже меня. Ну, думает наша графиня, не было бы счастья, да несчастье помогло: выйду за неё замуж, она скандалить не станет – по всему видно, не хочет признаваться, по какому роду склоняется, да и за душою ни гроша, а Оливия всё-таки одна из самых богатых дам во всей Иллирии, и тоже умна и пошутить любит; а герцог как узнает про тайный брак, так пошумит, погорюет и отвяжется – всё-таки сугубое таинство... И жили бы мы, рассуждает моя Оливия, душа в душу, и друг другу не мешали, а если вдруг что – брак-то ничего не стоит признать недействительным, только поп и поплатится; вот, кстати, всегда так – потому я и ушёл из духовного сословия, ну да не от том речь. И вот затевает она всё это, и священника я ей подыскал, и всё идёт как по маслу – как вдруг откуда ни возьмись появляется ваш Себастьян, и графиня в суматохе ляп! и принимает его за сестричку. Ну, конечно, они близнецы, да и ей под фатою видно было не очень, но ведь мог он предупредить! И вот всё выясняется...

Сперва она не больно-то и огорчилась, только на промашку свою досадовала – самолюбие всё-таки, в такой ответственный момент и так ошибиться; ну да ничего, решила, с лица они как две капли воды, а что мужеского пола, так это даже лучше, и герцог не рассердится – ему Виола, бедняжка, досталась... Утешала, в общем, она себя так, как один я умею; да только две-то капли воды оказались – одна вино, а другая, уж извините, уксус. Потому что раньше был у нас один доблестный и благородный зануда в Иллирии, а теперь – сразу два, считая Себастьяна. И увидела Оливия, что не за красивые глаза она Виолу-то полюбила, а за язык да характер; а вместо этого – такой растяпа... Он, может, и не виноват, что растяпа, судьба, наверное, такая: всю жизнь по течению плыть, что иногда и полезно – после кораблекрушения, например, лучше так, а не утюгом на дно, откуда не выудишь. Но уж дальше – нет, такой не для Оливии; и теперь она сама тарелки бьёт, всех влюблённых жалеет – даже Мальволио, не говоря о сэре Андрее, и только вас видеть не хочет.

Как почему? А вы ж и есть это самое течение – разве не вы подсунули Себастьяну, пока он у вас в каюте сох, какую-то книжку

стихом, переводную, он говорил, а автора я не помню – сонеты там какие-то, все про то, что очень ты хороший парень, а вот женишься, так ещё лучше будешь? Ну вот видите, сами и виноваты.

Нет, вы кулаками не стучите, синьор капитан, вы лучше выпейте ещё сливянки – если честно сказать, как нам, шутам, разрешается, то Оливия, может, и прогадала, но вы, по секрету шепну – ох как вам повезло! Потому что этот самый Себастьян в больших количествах – и даже в средних, недели вот оказалось достаточно, – хуже великого поста. Уж вы мне поверьте, я даже герцога Орсино развлекал и сам переносил, а вот теперь шатаюсь по городу, чтоб только домой к Оливии с Себастьяном не возвращаться: на неё посмотришь – жалость берёт, его послушаешь – зевота одолевает, а при моей профессии это конец! Да тут ещё масленица на носу, надо в форме быть, праздник всё-таки...

Ну, это я всё о своих проблемах, бог с ними; вы, главное, не расстраивайтесь. Сходите в море, развеетесь, какой-нибудь турецкий корабль ко дну пустите, а к нам будете наведываться – теперь-то уж не арестуют – и в гости к графине с мужем заходить, она привыкнет, я позабочусь. Сэр Тоби тоже очень не прочь с вами познакомиться, а он человек славный... Ну вот и хорошо, правильно: море – это великое дело, именно что свободная стихия; только пока, до весны, вам лучше всё-таки не пускаться в плаванье – попадёте опять в бурю, забросит неведомо куда, на необитаемый остров, как эту парочку к нам, так что лучше погодить.

Ну, вставайте, пойдёмте потихоньку, я вам посвечу до постели, только на лестнице не споткнитесь. Нет-нет, вам наверх, а это выход на улицу, зачем вам туда, синьор Антонио, там хляби небесные разверзлись на сорок дней и сорок ночей, как сказано в Писании – такая уж погода у нас в Иллирии после Крещенья: дождь что ни день, то опять... Спокойной ночи!

## УБИЙЦЫ

Собирались у собора вчетвером,  
Понимая, что пришли не за добром.  
«Помолись последний раз, святой отец –  
Ныне примешь мученический венец».

И сказал архиепископ им: «Сейчас.  
Да простит Господь, как я прощаю вас».  
Помолился и кивнул им: «Вам пора».  
И ударили четыре топора.

Первый рыцарь удавился на заре.  
Кончил иноком второй в монастыре.  
Третий сгинул в Палестине, на войне.  
А четвертый и сейчас живет – во мне.

## ПРОКЛЯТИЕ ПЛАНТАГЕНЕТОВ

*Его Величеству,  
королю Англии и Франции  
Иоанну Плантагенету*

Ваше Величество!

Послание это может показаться Вам дерзким – я, Губерт де Бур, Ваш рыцарь, отрываю Вас от дел Британии; если же Вы узнаете, что это – последнее письмо, на котором будут стоять моя печать и моё имя, что завтра я удаляюсь в монастырь, то я предполагаю, сколь велик будет Ваш гнев. Я понимаю, Государь, что моё пострижение сейчас, во время войны, может показаться предательством со стороны приближённого, к коему Вы всегда были так милостивы и который всегда отвечал Вам на это самой искренней преданностью. Простите меня, Ваше Величество: это письмо объяснит Вам причины моего поведения; речь в нём пойдёт о проклятии Плантагенетов.

Я пользовался Вашим доверием более, нежели кто-нибудь другой, и потому знаю, как страшило Вас это проклятие. Быть может, и само доверие это было продиктовано тем, что Ваш отец был тем человеком, который отдал приказ об умерщвлении св. Томаса, а я – одним из людей, которые этот приказ выполнили. Недобрый конец короля Генриха, отчаянное и героическое бегство Ричарда, Вашего брата, Ваши несчастья – всё это Вы приписывали проклятию, тяготеющему над родом английских королей с того дня. Не потому ли Вы дали исполниться пророчеству Питера Помфретского, предсказавшего, в какой срок Вы сложите венец, что опасались – не святой ли и он? Не потому ли Вас так испугал слух о том, что Констанция хочет подать прошение в Рим о причислении к лику святых мучеников Вашего племянника Артура, которого я не уберёг от гибели, павшей на Вас? Нам суждено убивать святых, но это проклятие – не проклятие Плантагенетов.

Я был близок к Вашему Величеству; но много ли Вы обо мне знали? Губерт де Бур, старого и нищего нормандского рода, верный слуга, урод с черепашьим лицом – вот и всё. Но эти рубцы, бороздящие мои щёки, сплетающиеся на лбу, скрадывающие перебитый нос, – они достались мне не Божьей волей, а от руки человека. Но было время, когда юный паж Губерт де Бур слыл одним из самых красивых юношей при дворе короля Генриха, как ни трудно сейчас поверить этому. Ваш отец любил красивые вещи, оружие, коней, приближённых; я соответствовал всем требованиям: увы, более чем соответствовал.

Конечно, я не был сколько-нибудь значительной особой – по молодости (мне было тогда пятнадцать лет), по бедности, по равнодушию короля к роду де Буров. Один из многих пажей, я проводил время с товарищами-сверстниками и всегда ладил с ними;

теперь мне бессмысленно скрывать, что, подобно многим юношам, мы чтили Венеру в не меньшей степени, нежели Марса, и гордились успехами на любовном поприще не менее, чем на турнирном поле. Как положено, у каждого была Дама из числа первых дам двора, о которой мы вздыхали и которую воспевали, и были женщины иного положения, с которыми и мы вели себя совсем иначе. Бедность – не помеха для песен; но и во втором случае красота порою искупала её, а я был красив.

Быть личным королевским пажом, несмотря на хорошее происхождение, я не рассчитывал; впрочем, мне, как и другим, наиболее завидным представлялось состоять при наследнике. Принц Жоффруа был тогда чуть моложе меня, весел, добродушен и не слишком умён – как и на Вашей памяти, государь. В его свиту я не попал, зато удостоился благосклонности королевы Элинор, Вашей матушки. Сейчас, после её смерти, легенда о ней расцвела ещё пышнее, чем при жизни; в ней много лжи, как и во всякой легенде, и отравление королевою мужа ничуть не достовернее, чем подвиги Фоконбриджа, о котором сейчас распевают солдаты и в которого играют дети, не подозревая, что их героя никогда не существовало и его образ создан в Вашей ставке. Но народу всегда необходим герой – чем он недоступнее и неуловимее, тем лучше. Вы дорого заплатили за то, что находились на виду у всей Англии, пока Ричард пропал на Востоке. Впрочем, это не имеет отношения к делу и известно Вам лучше, чем мне; просто я невольно уклоняюсь от рассказа о том, что ныне только мне и известно. Нужно ли вообще писать об этом? Нужно, ибо каждый должен знать своё проклятье.

Итак, слухи о королеве Элинор, ходившие и продолжающие ходить по стране, преувеличены до чудовищных размеров; но, как порою ни жаль, дыма без огня не бывает. Королева была не только государыней, но и женщиной – женщиной, которую покидает молодость, но не желают покидать страсти. В те дни, когда она увидела меня, король был в отлучке; но даже его присутствие лишь раззадорило бы её. Меня призвали к королеве поиграть на лютне; но она искала совсем иной игры и не отступилась от нескольких партий, как никогда ни от чего не отступалась. Потом я надоел ей – кажется, через неделю, – был отослан и был бы забыт, если бы у королевы через девять месяцев не родился сын, которого нарекли именем евангелиста Иоанна...

Король потребовал меня к себе; я начал от всего отказываться, тогда Генрих, улыбнувшись, сказал: «Губерт, ты верен госпоже более, чем господину, а всякая верность вознаграждается. Твой ребёнок будет для всех английским принцем – я не думаю, что он окажется хуже других детей Элинор. Ты верен и будешь молчать об этом; я не вырву у тебя языка и не велю убить на охоте – я полагаюсь на твою честь и здравый смысл. Надеюсь, что впредь ты будешь преданнее своему королю». – «Клянусь!» – воскликнул я (и сдержал клятву). Но Генрих продолжал: «Губерт де Бур, ты скоро убедишься, что хранить верность королю гораздо легче, чем королеве. Она не уверена в тебе; она не хочет, чтобы тебя любили



другие женщины; а так как я отношусь к ней с пониманием, то хочу обеспечить супруге спокойствие на этот счёт. Не будь в обиде, красавчик», – и он вынул кинжал из ножен.

Моё лицо лечили долго и настолько тщательно, что я не удивлюсь, если обязан отчасти и лекарю тем, что, встав на ноги, не узнал себя в зеркале. Я сделался уродом; был пущен слух, что меня лягнула в лицо лошадь. Не самый лестный слух для королевского пажа, но вскоре король сам посвятил меня в рыцари, и более надёжного вассала у него не было, ибо я знал, что в замке государя растёт маленький Джон, обязанный рождением своим мне, а жизнью и жребием – Генриху. Я был сторожевым псом; у короля имелось ещё трое таких – не знаю, чем он сковал их души, но эти души они погубили вместе со мною, когда Генрих понял, что архиепископ Кентерберийский Томас Бекет добьётся для него интердикта. Мы выслушали короля молча – как я выслушал Вас, когда Вы велели мне ослепить принца Артура. С мечами под плащом мы вошли в собор, не перемолвившись ни словом. Бекет молился перед алтарём; окончив молитву, он взглянул на нас и спросил: «Вы от Генриха?» Мы не ответили. Он сказал: «Король понимает, что кровь моя будет на нём и вспыхнет от первой искры адского пламени». – «Твоя кровь будет на нас», – ответил один из четверых (может быть – я), и другой (может быть – я) ударил его мечом.

Мне никогда не доводилось видеть больше этих трёх рыцарей после того, как мы расстались у выхода из собора; возможно, они сменили имена; кажется, кто-то из них пал в крестовом походе близ Ричарда Львиное Сердце. Я некоторое время скрывался; когда стало спокойнее, я явился к королю. Генрих посмотрел на меня, и его бледные губы дрогнули, словно он хотел поблагодарить или спросить о чём-то, но лишь кликнул приближённого и сказал ему: «Вот де Бур; я поручаю Джона ему». Так я начал служить Вам.

Где бы Вы ни были – я был подле Вас, что бы Вам ни грозило, я защищал Вас (сперва – когда бароны пытались вырвать у Вас злосчастную хартию Вольностей; ведь это я убедил Вас бросить им этот кусок; потом – когда бунтовала чернь, и я выдумал Фоконбриджа), чего бы Вы ни пожелали, я выполнял это. Почему я тогда не ослепил Артура, спросите Вы? Потому что я вспомнил, как умирал король Генрих, шепча: «Прости меня, Томас!» Вы сами поняли, что я был прав, и лишь безрассудность этого мальчика погубила его. Почему я покидаю Вас? Потому что Вы, король, не можете уйти со мною, а я хочу отвести от Вас то проклятие, которое люди (и Вы сами) называете проклятием Плантагенетов. Я не стану молиться в монастыре о спасении своей души – это бесполезно; я буду молиться за Вас, и когда предстану пред Судией, то скажу: «Боже, если ты будешь карать моего сына, то карай лишь за его грехи, за грехи короля Иоанна Безземельного, но пусть проклятие Плантагенетов падёт лишь на меня». И знаете что? Я думаю, что святой Томас согласится присоединиться к моей просьбе. Ведь он помнит, что сказали ему тогда, в соборе, четыре человека, принимающие на себя кровь мученика.

Прощайте, государь! Храните Англию. Прощайте, сеньор! У Вас ещё остались верные вассалы. Прощай, сын! Дай Бог, чтобы мы не встретились больше.

*Губерт де Бур,  
Июнь 1214 года от Р.Х.*

## КОРОЛЬ ДЖОН

В могилах братья Благосклонен Рок.  
Царить и властью наслаждаться можешь.  
Но повторяет помфретский пророк:  
«До Вознесенья ты корону сложишь».

Ну что ж, предрёк – и Бог с ним, с чудачком:  
В своём отечестве пророков нету;  
Его бы надо придушить тайком,  
Чтоб не мучил народ по белу свету.

Но ты его боишься. Нет ума,  
Который разберётся в странном веке:  
Ведь был святым иль стал святым Фома,  
Отцом твоим убитый Томас Бекет.

А вдруг и Питер Помфретский – Святой,  
Вдруг и его губительно проклятье?  
Отец был проклят – он в земле сырой,  
И молодыми опочили братья...

И ты слагаешь в должный срок венец  
И снова коронуешься в соборе.  
В темнице Питер свой нашёл конец  
И не слышать пророчеств в общем хоре.

## ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОКОЙНОГО

### *Негласное интервью*

Синьор Гильельмо, вы разумный человек и вам не трудно будет догадаться: я не испытываю ни малейшего желания, чтобы кто-нибудь, хотя бы и за такой дальней границей, услышал ту «всю правду обо всём», которая теперь так в моде – со сцены, в какой-нибудь «правдивейшей и плачевнейшей истории», или в памфлете... бросьте, я слишком хорошо знаю, чего стоят такие заверения! Итак, учтите: если в Генуе, Мадриде, в вашем Лондоне хоть кто-нибудь разгадает, о чём вы собираетесь писать и по каким источникам, пеняйте на себя – это будет ваша последняя пьеса. Найти компанию господину Марло с его неуместно длинным языком немудрено, а у Сеньории длинные руки... Вообще, зачем я, собственно, беседую с вами? Не потому же, что вы так искусно исказили ту веронскую историю – я сделала бы это не хуже... Может быть, оттого, что ваши соотечественники ещё хранят то замечательное предания, уже полузабытое на континенте – о гибели мага Мерлина по воле его ученицы, превзошедшей учителя... Нет, не перебивайте и спрячьте ваш карандаш – это даже неприлично: стенографировать при даме её слова, тем более – поэту. Мы, творческие личности, должны уметь запоминать всё необходимое на слух; поэт потом, вольно или невольно, отсеет ненужное и заменит воспоминания о фактах фантазиями, а я так просто не умею, да и не имею права ничего забывать (как, впрочем, и записывать – такое уж наше время).

Итак, вас интересует генерал Отелло? Блестящий был человек – отважный, честный, недалёкий... Вы знаете, он ведь был мавром, так что порою казалось (например, его глупенькой супруге), что и внутри он тоже не такой, как все. Впрочем, что там бедняжка Дездемона: даже я пробовала наперегонки со своим мужем разгадать секрет мавра – и не нашла никакого секрета, увы! Как и многие белые, Отелло мерил других по себе. Эта его искренность, простота, жар умели покорять многих: солдаты его обожали и шли следом, как бараны за вожаком под турецкие пули или ятаганы. Между прочим, это дар лейтенанта, а не полководца – полководец должен уметь посылать своё стадо вперёд, не выходя из штабной палатки; но Отелло так и остался в душе лейтенантом, пробравшимся в генералы. Пожалуй, Венеции повезло, что он погиб не в самый критический момент, иначе бы мы лишились Кипра – впрочем, мы его и так лишились, но это к делу не относится. Разумеется, Отелло был парвеню – но из мавританского княжеского рода, а Республика ценит такое происхождение едва ли не выше, чем ваша монархия. А у этих мавританских рыцарей кровь ещё не так прокисла, как у европейских, так что генерал прожил всю свою жизнь по кодексу чести и, нарушив его, умер – на самом-то деле

исправно доиграв ту тупую роль, которую избрал себе сам, да, синьор, сам. А Яго...

Понимаете, Яго был великий режиссёр, но слишком уж связан амплуа своих актёров, их масками... На чём в конце концов и сломал себе шею. Но их, конечно, так же нельзя сравнивать, как марионетку и кукловода. За спиной у Яго ведь не было ни долгой славы (хотя он тоже был смелым, даже дерзким офицером; как ни странно, при штабе Отелло это оказалось необходимым качеством – такой уж парадоксальный штаб), ни знатного рода, хотя бы мавританского или тем более венецианского, как у Кассио, ни милостей, которые Святейшая Церковь излила на выкреста, ни блеска экзотики – только голова на плечах, два уха, два глаза, один язык и желание доказать Эскорее себе, чем другим), что и это совсем не так уж мало... Он частенько говаривал мне: «Эмилия, если меня когда-нибудь сожгут на костре, то по обвинению в магии»; я делала большие глаза и восклицала: «О, почему же? Ради Иисуса, не занялся ли ты некромантией?» – а он, усмехаясь отвечал: «Парацельс утверждает, что магия – это познание связей в мире и умение ими управлять». Этому он и учился, и научился – только не до конца: некоторые связи покойный Яго всё-таки сразу выпустил из своего поля зрения. Но таких людей (или кукол), как Отелло, Кассио, Дездемона или какой-нибудь Родриго – этих он умел сплести с полным искусством...

Любила ли я его? о! прямо-таки нескромный вопрос, мессир Гильельмо. Вы всё ещё находитесь под впечатлением того веронского происшествия? Нет, разумеется. Я им восхищалась – некоторое время; я у него училась – до самого конца, пока было чему; но любить? Этому у него нельзя было научиться – он сам этого не умел и считал совершенно ненужным для таких, как он – «управляющих», как он выражался. Разумеется, я, по его убеждению, к «управляющим» не имела никакого отношения, так что должна была просто по природе своей оказаться влюблённой дурой, наподобие любой женщины; я исправно играла эту роль, и не переигрывала, не изображала верную Гризельду вроде Дездемоны – это даже больше его устраивало, вы же, вероятно, уже читали в судебных отчётах, что на процессе он выдвинул причиной своей ненависти к Отелло ревность – дескать, не мог простить ему, что генерал пару раз затащил к себе в постель его законную супругу. Как и всё, что показал Яго под пыткой, это утверждение содержит половину правды: я действительно побывала в постели у мавра, ещё до его женитьбы; другое дело, что один раз сделала это по заданию мужа, а про другой муж ничего не знал... я уже упоминала, что пыталась разгадать так называемую тайну Отелло...

Вы спрашиваете, за что же он тогда ненавидел генерала? О Господи! неужели вашей пьесе так необходим повод для ненависти? Ну, придумайте, что Яго был тайно влюблён в генеральшу, что ли, невозможный вы человек... право, мне становится с вами скучно, мессир Гильельмо. Яго ничуть его не ненавидел. Это чувство было столь же чуждо ему, как и любовь. Зависть? Ну конечно,

официальная версия: «завидовал внеочередному продвижению лейтенанта Кассио» и т.д. Чушь! Для того, чтобы занять место Кассио, достаточно было бы убрать самого Кассио – хотя бы руками такого же идиота, почти двойника его, Родриго. Но не думаете же вы, что обер-офицер Яго метил на генеральское место? безродный, не имеющий покровителей и так далее? Да зачем ему это было бы нужно – ради шарфа и эполет, что ли? Да, он не против был прибрать к рукам Кипр – но эполеты его не интересовали. Генеральствовать мог Отелло – сколько угодно, командовать солдатами – Кассио, сколько угодно; а вот руководить Отелло – это было желанием моего мужа. Вы ведь, кажется, написали кучу пьес о разных королях: скажите по совести, при ком из них государство и истинная власть были в собственных королевских руках? Вот то-то и оно, мессир.

Зачем тогда нужно было Яго губить генерала? На это ответить будет уже сложнее. Вы знаете, эта бедная дурочка Дездемона как-то спросила меня: «А вы, Эмилия, могли бы изменить мужу, если бы вам предложили за это весь мир? – и я ответила правду, зная, что она поймёт её настолько буквально, что можно не опасаться понимания: «Ну разумеется! За каких-нибудь несколько аршин парчи или кошелёк с золотом – ни в коем случае, но весь мир... ведь мир и определяет, хорош или плох тот или иной поступок». Девочка возмутилась, но, как и следовало ожидать, не потому, что поняла. Ради власти над Кипром или другим подчинённым Отелло военным округом его, разумеется, следовало беречь – и Яго это знал, и я так считала. Другое дело – Дездемона, её как раз не грех было устранить, чтобы занять её место... ну, не совсем её, разумеется, но чтобы рядом с Отелло был не только «управляющий» мужчина, но и «направляющая» женщина (Яго, конечно, полагал, что через эту женщину станет работать он сам, вечная его ошибка...). Но генерала – беречь, Кипр того стоил.

Беда в том, что Яго было недостаточно Кипра, его тоже интересовали не несколько аршин парчи, а весь мир. Он ведь тоже был творческой личностью, мессир Гильельмо. Вертеть Кипрским военным округом – полезно и выгодно, но слишком просто. А вот сравнить Отелло с двумя людьми, которых он любит, с женою и Кассио – это было не так полезно, зато очень интересно. Вы понимаете? Интересно! Кассио ведь был страшно похож на Отелло, только пожиже – если бы не его безукоризненный цвет кожи, я билась бы об заклад, что он – незаконный сын генерала; и тот это чувствовал и очень его любил. Ну, а что до Дездемоны – это такое соответствие по контрасту, которое, казалось бы, только в сказках да пьесах и встречается. А он очень любил хорошие пьесы, мой Яго, и меня к этому приохотил – иначе бы мы с вами сейчас не беседовали, у меня куча дел... И перестроить пьесу, дёргая за те невидимые нити, которые, по словам его Парацельса, связуют мир, – это соблазн, это искушение, которому невозможно противиться для такого человека, как мы, – вы ведь тоже перекраиваете свои источники самым увлекательным образом, не правда ли? Тут уж выгода отступает на второй план, на уровень выкачивания золота из

какого-нибудь Родриго, а искусство становится высшей ценностью и даже самоцелью...

Ну, наконец-то! И вы теперь признали, что мой покойный супруг был человеком гениальным? Я тоже так думала, почему и пошла к нему – в жёны, подручные и ученицы. Однако вынуждена вас разочаровать, мессир: он не был гениален, он был только талантлив. Допустил грубейший промах, который обрушил на архитектора всю возведённую им постройку. Яго не учёл одного пустячка – очень характерного, между прочим: женщины. Нет, я не о Дездемоне – хотя до неё он, разумеется, тоже не снисходил, но она была так глупа, что совершенно неинтересна. Всё дело в том, что Яго считал такими же дураками, годными в лучшем случае на то, чтобы использовать их как орудие, всех женщин; он не принимал их в расчёт, с каким-нибудь ничтожеством вроде Кассио или Родриго ему было интересно возиться и играть, как кошке с мышкой, но женщина – это не человек, она не стоит внимания... Может быть, напрасно он не научился любить.

Вы помните, что я говорила о вашем Мерлине? Великий маг учёл все тайные связи мира, не догадываясь только, что его ученица усваивает их ничуть не хуже и в нужный момент пожелает отделаться от учителя и занять его место при короле Артуре. А Яго даже не догадывался, что у него вообще может быть ученица – может быть, когда-нибудь, ученик, на старости лет и под строгим контролем... но никак не женщина. А я была рядом с ним; я помогала ему; я училась. Мне ясно стало видно, что страсть Яго – ломать сценарии, написанные судьбою, и заставлять актёров, не меняя амплуа, играть свои роли по его воле и режиссуре. Ну а женщины – они всегда в самом конце списка действующих лиц, объект страдательный и, во всяком случае, глупый. Да, мессир Гильельмо, я усвоила всю его науку и решила устранить соперника и заодно отомстить за всех женщин.

Видит бог, мне хотелось сохранить Яго жизнь, подчинив его – вы же писали о чём-то подобном, только наоборот, «Укрощение строптивой», что ли? Но по ходу дела он впутался в скверную историю: будучи заинтересован (от слова «интересно») в крушении Отелло, он вспомнил, что есть лица, заинтересованные в гибели генерала из выгоды. Как – кто? Во-первых, турки: Кипр – важный стратегический пункт, а Отелло – обожаемый солдатами командир, за которого они будут драться до последней капли крови, но без которого, под командою, скажем, Кассио, потерпят полное поражение в течение получаса. И Яго пошёл на переговоры с ними, а у меня всё-таки было (и есть, разумеется) некоторое патриотическое чувство... Во-вторых, ни Яго, ни Кассио не могли, конечно, претендовать на положение Отелло, но некоторые лица в Венеции... в том числе хозяин этого дома, синьор Лодовико, мой нынешний муж... если можно его так назвать...

Одним словом, мой Мерлин слишком увлёкся. Я подала сигнал в Венецию – чтобы прислали ревизию во главе с Лодовико. Я, поставив долг выше супружеских чувств, уличила мужа в

предательстве и кознях, стоивших жизни сенаторской дочери и генералу Республики. Всё это зафиксировано в протоколе. Ах, если бы вы могли видеть Яго в эту минуту! Он понял, что как режиссёр потерпел жесточайшее крушение, и стал на пару минут просто очень плохим актёром из очень посредственной трагедии, бросившись на меня с ножом – даже после всего, что открылось, бедняга всё ещё предполагал, что я явлюсь на разбирательство давать показания, не поддев под платье его же собственную кольчугу... впрочем, моей фигуре он никогда не придавал значения. Я доставила ему последнее сомнительное удовольствие – ахнула и упала замертво, невинная жертва коварного и кровожадного зверя; только когда его уже вели мимо моего распостёртого тела на пытку, я подмигнула ему и сделала ручкой вот так...

Итак, Кипр был спасён... на некоторое время, а благородная вдова залечила несуществующую рану и после положенного траура сочеталась браком с достойным сенатором Лодовико. Впрочем, смею подать вам один совет, мессир Гильельмо: ваша пьеса выиграет, если такой предусмотрительной кольчуги в ней не будет фигурировать. Всё-таки лишний труп в трагедии не помешает... да и мне не хочется, чтобы лишний раз трепали языком по поводу Лодовико – его и так уже пробовали обвинить в недозволенных методах расследования из корыстных побуждений... такой уважаемый человек, ваш король лично знаком с ним, моим супругом – не стоит компрометировать... вы меня поняли? Ну что ж, желаю творческих успехов, а у меня ещё масса дел. Надеюсь увидеть вашу драму... ну, рукопись-то мне доставят ещё до постановки, но на сцене это всегда красивее – мавританский полководец, коварный злодей, глупый богач, мудрый представитель правительства, простодушная, невинная, благородная жертва долга, да ещё декорации, костюмы... Возьмите на память вот этот платок – он раньше принадлежал бедняжке Дездемоне, но некоторые считают, что он приносит удачу, а она погибла именно потому, что лишилась его... Прощайте, сударь.

Так, Джованни, кто там следующий? Записка от дожа с просьбой о свидании... значит, бедняга Лодовико снова задержится в экстренной командировке, ладно. Ну да и дож погодит – ты говоришь, человек с турецким акцентом? Наконец-то! Стан долго раскачивался, но теперь дело в шляпе. Впустить немедленно! Как – ушёл? Оставил пакет? Дай сюда! Странно – шёлковый шнурок...



## **ДРУГОЕ МЕСТО ПОЛЯ БОЯ, ИЛИ КТО УБИЛ ТРОИЛА?**

### *Монолог Улисса*

Странно, но мне скверно – все десять бесплодных лет войны мне не бывало так тяжело, как сегодня – в день великой победы, когда судьба Трои решилась столь стремительно и бесповоротно: одновременно погибли Гектор и Троил, больше Илиону не на кого опереться, и это – дело моих рук и моей головы, головы сомнительного штабного хитреца Улисса, так презираемого нашими вояками и богатырями вроде Аякса. Елена меня совершенно не интересует – слава богам, я не Парис и не Менелай, – но зато ведь теперь наступает конец этой заваренной ими нелепейшей из войн... и всё-таки мне очень нехорошо.

Порядок, тот божественный Порядок, который направляет небесные светила, земные народы, царей и подданных, вождей и бойцов, основа всех систем и всякой субординации – этот Порядок не победил. Да и сегодняшняя победа в бою, устроенная мною, – какой ценою и какими рычагами пришлось орудовать? Анархия, грызня, соперничество Ахилла и Аякса за первенство, зависть и удачное, насколько это мыслимо, использование мятежа – ради того, чтобы швырнуть этих упрямых эгоистов на подвиги и славу... Нет, я-то не Ахилл и не Аякс, мне слава не нужна – но горько почему-то и оттого, что именно Ахилл, которому она дороже всего на свете, наш образец рыцарства – убил сегодня Гектора безоружного, из-за угла, руками своей мирмидонской своры... Подвиг свершён, большое дело, клянусь Юпитером, но Ахилл нарушил свой порядок, свой кодекс, рухнувший, как рухнет большой Порядок, – больше он не Ахилл, и мне немного жалко, что так получилось...

Греки сегодня ликуют, а троянцы, как положено, скорбят – а с ними, как это ни нелепо, единственный из Ахейского лагеря – я... Нет, не единственный – вон Крессида убивается над мёртвым телом своего Троила, ломает руки и вопрошает меркнувшие немые небеса: «Кто его убил? О боги, кто?! Ни один человек на свете не любил меня так – и больше не полюбит!» Верно, девочка, т а к – никто: я свидетель тому, как Троил пытался не верить собственным глазам, когда ты отдала Диомеду подаренное им запястье... еле удержал мальчишку, иначе бы и перемирие провалилось, и сегодняшняя битва.

Да, сегодня-то он дрался, как лютый зверь, и, стряхивая кровь с клинка, корил Гектора за мягкосердечие и пощаду пленным... не хотел бы я попасться на его пути – да больше и не придётся. Так кто его убил? Этот твой Диомед, Крессида? Нет, я его знаю – тогда он стоял бы здесь, рядом, и утешал тебя... Не лги! Никуда бы ты его не гнала – слушала бы в оба уха и старалась поверить, что пусть он хуже умеет любить, чем Троил, но хоть герой оказался – большой... Нет, не Диомед.

Так кто же? Аякс? Наш доблестный бык, пылающий желанием возместить потерю славы (сомнительной, но об этом знаю только я и мирмидонцы), которую снискал сегодня Ахилл, сразив Гектора? Да, не удалось убить первого среди троянцев, так хоть второго – это похоже на Аякса, но почему-то я не слышу, как он трубит на весь стан: «Я одолел Троила» и доказывает, что Троила был почище Гектора, особенно когда рассердится. Сам Ахилл? – но он торжествует другую победу – мёртвый Гектор, привязанный к хвосту боевого коня, позорная месть за жалкого Патрокла настолько заслонили для нашего первого рыцаря всё остальное, что ему уже не до Троила...

Кто же тогда, спрашиваешь ты, Крессида? И в самом деле хочешь, чтобы я ответил тебе? Да ты сама, разумеется. Нет-нет, вполне буквально – кинжалом, а то и его собственным мечом. Только ты могла застать Троила врасплох – это не Гектор, любого мужчину он уложил бы на месте, а любую женщину отшвырнул с дороги – любую, кроме тебя. Видел я, каким ежом он сегодня щетинился – такого не развернёшь.

Да-да, конечно, ты его любила, ты стыдилась своей измены, ты уже тогда поняла, на кого променяла своё сокровище, можешь не продолжать – верю. Поэтому ведь ты и захотела зарезать собственную совесть – и зарезала Троила. А совесть-то выжила, и вот сейчас ты плачешь... и хочешь сойти вместе с ним в могилу? Ну, это, положим, слишком сильно сказано – вовсе ты этого не желаешь, и я понимаю это не хуже тебя...

Ох, да слышал я уже, слышал – ты его любила. Ну так ведь и я его по-своему любил – хотя для меня он куда больше был и троянцем, и неприятелем: попадись я ему на дороге сегодня вместо тебя, и дело кончилось бы совсем иначе... Ну да слезами горю не поможешь – да я и не допустил бы этого ни в коем случае: война должна закончиться, хотя бы и такой ценой. И всё, что мы с тобою можем сделать для мёртвого Троила – это объявить во всеуслышание, что он пал от героической десницы великого Ахилла. Тот не станет отрицать – сам поверит, что случайно зашиб его в бою... это ты знаешь, что Троила нельзя было случайно зашибить, а он – нет. Убил и не заметил даже или не запомнил – искал-то он одного Гектора из всех сотен людей в латной скорлупе, одного его и видел, а остальных... Да. И если я не имею права рассказать, как на самом деле погиб Гектор и как Ахилл нарушил собственный Ахиллов закон – то расскажу хотя бы, как он сразил Троила, и никакие Гомеры и никакие Шекспиров не дознаются правды, а если кто и дознается, то вовремя оборвёт свою трагедию. Потому что я не Терсит – я не хочу выставлять напоказ болячки и язвы, разъедающие Порядок, чтобы посмеяться над ним – ни на Ахилловом примере, ни на твоём. Закутаем бедную искалеченную статую поплотнее и уложим складки понаряднее – иначе нельзя. Но сам-то я знаю, что Порядка уже нет больше, и поэтому, маленькая, глупая, очаровательная даже в слезах Крессида, мне в этот великий и славный день ещё горше, чем тебе...

## ПОСЛЕ БУРИ

Что ж, Калибан, ну вот мы и свободны:  
Отныне ты – не раб, я – не слуга,  
Наш господин и наш освободитель  
С нежданно обретённую роднёй  
Унёсся в море – на каком-то судне,  
А не по воздуху, как подобает  
Такому чародею; впрочем, он  
Уже не чародей: и посох сломан,  
И книга брошена на дно зыбей.  
Когда мы попрощались, он промолвил:  
«Мне жаль тебя, но ты теперь свободен», –  
Что он имел в виду? Скорей всего,  
Опять – презренье: разве может быть  
Свобода выше, чем отринуть власть?  
Ну что ж, на то, мой друг, он человек,  
Не эльф, как я, не зверь, как ты, приятель,  
Стремящийся до уровня людей  
Добраться с помощью клыков и водки.  
Не обижайся! Он тебя любил,  
И я любил, как ты ни дик и глуп,  
Проклятое отродье Сикораксы!  
Я узником её когда-то был,  
В расщелине древесного ствола  
Торча, как клин; и Просперо явился  
И вызволил меня – и взял на службу,  
И это было даже тяжелее –  
Не силе, а заклятью уступить,  
Быть связанным не путами, а клятвой.  
Да, если бы умел я ненавидеть,  
Как люди или ты – на всей земле  
Всех больше ненавидел бы его!  
Но, к счастью, я на это не способен,  
К тому же он меня освободил,  
И я уже успел слетать домой –  
На милую поляну Оберона...  
Какая мерзость! Как упали нравы!  
Как забавлялся светлый наш король,  
Когда осла ласкала королева  
И говорила страстные слова  
Под Пэково хихиканье – предатель,  
Он занял моё место там, при них!  
Ни Оберону больше я не нужен,  
Ни матери – она меня забыла,  
Ни даже Просперо... Совсем один.  
Лишь ты ещё остался, бедолага,

На острове, постылом для тебя,  
Вздыхать о дочке мудреца... Смешно,  
В таких страстях ты ближе к человеку,  
Чем я, воздушный безлюбовный дух!  
А впрочем... Знаешь, я, пожалуй, понял,  
Что Просперо заставило бежать  
И отказаться от величья – слушай,  
Ведь он был так же одинок, как мы!  
Умел он всё, не мог лишь одного,  
Что можем мы: служить не мог, служить.  
Дарить – умел, и властвовать = умел,  
И очень хорошо умел работать,  
Но только для себя и для девчонки,  
По доброй воле и – совсем один!  
А человеку свойственно служить –  
Как и тебе: ведь я отлично вижу,  
Как ты скучаешь и скулишь на море,  
И ждёшь, когда хозяин приплывёт  
Какой-нибудь – с жезлом или бутылкой;  
Или как мне – мне, эльфу, ветерку!  
Так вот за что он пожалел меня  
С моею долгожданною свободой!  
Заклятье сняв – привычки снять не смог,  
И этого, быть может, устыдился...  
Теперь ему дороги нет назад,  
Ты до него не доберёшься вплавь,  
А я... я не могу лететь за ним  
Туда, где он – такой же, как и все,  
Где если и удастся быть слугою,  
То сразу – целой тысячи господ!  
Что ж, Калибан... давай служить друг другу.

## ЦИННА-ПОЭТ

### *Неотправленное письмо*

*Луцию Крассицию Пансе,  
собств. вилла под Тарентом*

Крассицию от Цинны привет.

Чувствую, друг мой, сколь велика моя вина: письмо твоё было получено вскоре после Сатурналий, а я только теперь, на закате Скорпиона, отвечаю тебе – тебе, которому я столь многим обязан! Единственным оправданием, мой дорогой комментатор, может служить моя непрестанная занятость, необходимость исполнения хотя бы тех фиктивных обязанностей, которые возложены на меня Городом, и беготня по издательствам.

Об успешности последнего занятия ты можешь судить по прилагаемой книге. Решительно, из всех личностей, кормящихся вокруг нашего высокого дела, Квинт Маллоний обладает наибольшим вкусом и наименьшей совестью. Ты знаешь, что меня трудно назвать богатым и расточительным человеком, но я боюсь даже писать тебе, во сколько мне обошлось это издание «Смирны» за свой счёт на сиреневом папирусе. Зато какое изящество во всём, начиная от почерка и кончая футляром для свитка! За эти два месяца издание стало антикварной редкостью, а если ты пожелаешь предоставить Маллонию и свой комментарий к поэме, то совершенство формы и содержания будет двоедено до предела.

Сам диктатор хвалил экземпляр, представленный ему мною, что, впрочем, неудивительно: «Смирна» всегда ему нравилась, хотя Корнифиций (он уже стоит одной ногою в могиле, бедняга! а ведь совсем ненамного старше нас) и намекал, что содержание поэмы особенно близко Цезарю. Конечно, это клевета, но клевета очень в духе времени, поэтому уничтожь, на всякий случай, это письмо. Я никогда не был слишком близок с Цезарем, но смею утверждать, что пороки его преувеличены молвою до непростительных размеров; горько признаться, но многие наши друзья, в том числе покойный Катулл, внесли в эту славу немалую лепту. Диктатор – отнюдь не развратник; даже мой законопроект о многожёнстве он в своё время не дал в последнюю минуту провести – а ведь этим узаконил бы своего сына от Клеопатры! (Говорят, очень способный мальчик!)

Но вернёмся, с твоего позволения, к н а ш е й киприянке. Можешь ли ты догадаться, кого внезапно заинтересовал сиреневый папирус? Антония и Брута, людей, начисто лишённых художественного вкуса. Первому пришлась по душе роскошь издания; я замолвил перед ним словечко за тебя, и консул собирается пригласить тебя в Рим обучать своего сына – не упусти случая, он далеко пойдёт! Что же до Брута, то он усмотрел в

«Смирне» какие-то политические намёки; стоит ли объяснять, что это чистейшая его фантазия? Впрочем, бедняге сейчас скверно: ему подбрасывают анонимки с намёками на Брута Старого и явно втягивают в какую-то историю.

Вообще, как я завидую твоей тихой провинциальной жизни на собственной вилле под родным Тарентом! Свежий ветер с моря, шум листвы, блеяние стад, непритязательные крестьянские дочери и сыновья, любимые книги и далеко идущие исследовательские замыслы... ах, как мне недостаёт всего этого в пыльном, шумном Риме с бесконечными ссорами, спорами, листовками!.. Недаром наш молодой нелюдим Марон, кажется, собирается писать в духе Феокрита (кстати, у него недюжинный талант, да и покровители влиятельные).

Между прочим, о подмётных листках: накануне я сижу дома один, пишу свою «Эною» (уже перевалил за половину; выдерживать шуточный тон в большом произведении, не опускаясь до грубого зубоскальства, так нелегко! но не тебя мне об этом уведомлять), как вдруг входит раб и передаёт мне записку. Читаю: «Цинна! Решено окончательно – завтра в курии Помпея. Будь готов!» – и какой-то из обычных в последнее время лозунгов о свободе. Я ничего не понял, но в это время явился наш общий высокоучёный друг Артемидор; на нём не было лица, он шатался, как пьяный, потрясая каким-то свитком, и мне с трудом удалось успокоить его, так что он взял себя в руки и мы заговорили о происхождении пигмеев (кстати, какого ты сам мнения на этот счёт? На мой взгляд, совершенно невероятна гипотеза о том, что названные карлики – выходцы из Индии). Между прочим я показал Артемидору нелепую записку и начал предполагать, кто бы мог так подшутить. К моему изумлению, тот перечёл её несколько раз и, снова побледнев, воскликнул: «Это почерк Брута!» – «Что за чушь? – отвечаю я. – Зачем Бруту писать мне такую ерунду?» – «Он писал не тебе, Гельвий, – заявляет грек, – а Корнелию Цинне, который произнёс сегодня речь против Цезаря. Раб перепутал адрес». И не успел я прийти в себя, как Артемидор уже переписал текст записки на табличку и, поспешно простившись, ушёл; последние его слова были: «Цепь замкнулась, если я успею предупредить диктатора, он спасён!»

Как видишь, даже самым образованным людям в Городе непрестанно мерещатся заговоры; я боюсь уже беседовать с Азинием Поллионом – он в панике из-за дурных предзнаменований: рубиконские кони отказываются от овса, а в гробнице Капия обнаружено пророчество о новой гражданской войне и т.д. Я, со своей стороны, смогу сегодня рассказать Азинию, что мне снилось этой ночью, как Цезарь чуть не силой тащит меня с собой на званый обед, хотя я сыт и сопротивляюсь. Не сомневаюсь, что этот сон можно истолковать любым образом (как и всякий другой); лично я опасаясь нового запора.

А теперь, дорогой Крассиций, оставим политику и побеседуем, как в старые времена, о прекрасном. Ты, конечно, уже читал Маронова «Комара»; в этом жанре я готов учиться у него – более

очаровательной вещицы не припомню ни у кого из молодёжи. Мне хотелось бы, чтобы нечто неуловимое от этого настроения присутствовало в моей «Эное». Ах, мой друг, трагические сюжеты возвышенны, но иногда хочется повернуть стиль – даже Гомер написал «Войну мышей и лягушек»!

Кстати, о стиле и Гомере: появился некий Главк, эфесец, в высшей степени подозрительная личность, который продаёт за шестьсот тысяч сестерциев якобы подлинный стиль Гомера. Я осматривал эту штуку: ей не более пятисот лет. «Чем ты докажешь, что это именно его стиль?» – спросил этого главка Корнифиций. «Вот! – восклицает тот, показывая тупой конец, – вот следы зубов Гомера!» – «С чего ты взял, что именно Гомера?» – не унимается наш друг. Эфесец надулся и процедил: «И ты, поэт, не можешь узнать следов уст Великого Слепца?» – после чего издал неприличный звук. Мы вдоволь посмеялись над обоими; но самое смешное, что М. действительно приобрёл этот стиль. Несчастный неграмотный Гомер! Несчастный Рим! Несчастный век!

Написав эти слова, я услышал на улице какой-то шум; можешь укорять меня в непоследовательности, Крассиций, – я недавно бранил суету Города и восхвалял деревенский покой, но всё же любопытство берёт своё.

Будь здоров!

*Гельвий Цинна*

*Рим, консульство Антония и Цезаря,*

*Иды марта 710 г.*

## МИРОТВОРЕЦ

*Венеция,  
г-ну Бассанио, купцу*

Благословение Божие, Бассанио, над тобою, и супругою, и чадами!

Друг твоей молодости вновь беспокоит тебя и отвлекает от столь важных дел, как попытка завязать торговлю с обеими Индиями. Более того, он отвлекает тебя отнюдь не по такого рода причине, которая приличествовала бы бедному минориту, брату Лаврентию. Но чем больше погружаюсь я в хроники гостеприимной Вероны (откуда и посылаю сие письмо), чем далее стараюсь уйти в глубь веков в поисках хоть единого святого из здешних мест, тем сильнее – странное дело! – тревожат меня дела сугубо мирские, с каковыми мне приходится сталкиваться всё чаще и чаще. Но успел затихнуть скандал с тем благородным молодым человеком, волею Провидения сделавшимся на некоторый срок предводителем разбойников, и с этой его Юлией, разгуливавшей по Италии в мужском платье (герцог простил первого, Церковь, проявив достойное милосердие, пощадила вторую; беспощадны лишь слухи), как произошла эта тягостная история с другой Юлией, Капулетти, молодым Ромео Монтеки, князем Парисом и иными, о чём, вероятно, тебе передала уже молва. Быть может, передала она в этой связи и моё имя, и мою печальную роль в этой печальной повести, за каковую я сам наложил на себя жесточайшую епитимью. И всё же, не разглашая тайн исповеди, не пороча ничьих имён, я хотел бы сообщить тебе о той стороне этой странной трагедии, задуманной как забавная и поучительная комедия, о которой тебе едва ли поведаёт кто-либо ещё.

По слухам, вероятно, представляется, что главную роль здесь сыграли страстная любовь с первого взгляда, безумие молодости, тщетно охлаждаемое опытом моей если не старости, то зрелости. О Боже, как я убеждал молодого Монтеки не спешить, не торопиться! я даже поведал ему ту неблагоприятную историю, которая привела меня, к счастью, на чистейшее и богоугодное поприще, но могла завести и в гораздо худшие обстоятельства. Ты никогда не любил Джессику, Бассанио, ты перенёс на неё свою неприязнь к её отцу, а заодно – и на всех её соплеменников, равно крещёных и некрещёных (что уже совсем нехорошо, ибо, как отмечал апостол Павел, сие есть единственная разница меж иудеями и всеми остальными обитателями наших краёв), и я не собираюсь жаловаться тебе; просто – хочу позволить себе немного вспомнить собственную юность – нашу общую юность! – так и не послужившую уроком несчастному молодому человеку. Господь свидетель, я любил Джессику ничуть не меньше, нежели любили друг друга эти несчастные веронские дети; я похитил её, желая спасти не только



из узилища нечестивой веры, но и от той тяжёлой атмосферы, которая всегда наполняет дом ростовщика и пропитывает души всех его обитателей. Увы, поздно! в первый раз я усомнился в своём дерзком выборе, узнав, что Джессика прихватила из отцовского дома шкатулку с золотом; на моё возмущение и слова о собственном немалом состоянии она лишь улыбнулась и ответила: «на чёрный день». Когда чёрный день наступил, никакое золото уже не могло помочь. Она любила меня, Бассанио, и я любил, и дети наши (видишься ли ты с ними? Пьетро должен быть уже совсем взрослым) были зачаты в любви (да простит мне Господь подобное воспоминание!). Но кровь моего тестя, золотая пыль, кружившая в воздухе его дома, сказывалась: вскоре я был вынужден отказаться от экипажа, а дети – ходить в штопанных чулках, несмотря на все мои огромные тогда доходы (прах, прах! но в то время я ещё не понимал этого – потребовалось семь лет жизни с Джессикой, чтобы я осознал тщету корыстолюбия). Право же, она любила и детей – для них и копила; но ребяташки больше были бы рады сегодняшнему леденцу на палочке от уличной торговки, нежели дукату после смерти родителей. Стяжание ради детей перешло в стяжательство ради стяжательства; тогда-то я и покинул Венецию, никому не сказавшись, и от прошлого Лоренцо осталось только имя да память о нашей с тобою дружбе...

Я слышал, между прочим (нехорошо, конечно, передавать сплетни, но порою это представляется необходимым), что твоя Порция ныне сохнет, тоскуя по перу и судейской мантии; могли ли мы предположить, что именно тот давний день останется у неё в памяти как лучший в её жизни? Разубеди меня, пожалуйста, в достоверности этой молвы – иначе, мне кажется, Порция слишком опережает нравы своего (и нашего) времени, так что мне становится горько за вас обоих и за всю суету мирскую...

Так я говорил о Ромео Монтекки; я ли не уговаривал его отложить брак? я ли не рассказывал ему страшных историй о семейной жизни и о девочках, умирающих родами? но он, сам ещё мальчишка, дерзко и влажно взглянул на меня своими чёрными и, надо признать, действительно очень красивыми глазами и заявил: «Неужели, святой отец, вы хотите, чтобы венчание оказалось для нас единственным, хоть и запоздалым выходом?..! Я сложил оружие и поступил так, как желал он... он ли?»

Я недаром упоминал, что любовь в этой драме оказалась чем-то вторичным. До определённого момента Ромео только и мечтал о своей Розалинде, замужней и добродетельной, а следовательно, безопасной даме, а Юлия – о прекрасном князе; им и в голову не приходило породниться с вражеским домом – ты же знаешь, какая ненависть выросла веками меж домом Монтекки и домом Капулетти. Эта ненависть, эти раздоры и усобицы, эта бесконечная грызня, парализующая все силы двух влиятельнейших родов, замкнувшихся один на другом, в высшей степени пагубно сказывались даже на внешней веронской политике: ты знаешь, вероятно, как девяносто лет назад один из Монтекки едва не преподнёс Верону на блюде

миланским правителям только ради того, чтобы досадить Капулетти. Никого это не печалило более, чем герцога; никто – я, лицо духовное, вправе сказать об этом – не был так бессилён перед сим злом. Герцог Эскал робок и мягок, и если в Вероне случается что-либо скверное, то можно не сомневаться, что его светлость появится только после того, как всё, чего не должно было произойти, уже произошло... Я не сужу его – ни в коей мере! – в конце концов, он довольно милосерд и кроток, это редкость в наш железный век, и за сие ему простятся многие ошибки. Но был в Вероне другой человек, который умел даже ошибки свои обращать на благо отечества. Это родич герцога, ныне, увы, покойный, обаятельнейший молодой человек лет двадцати пяти, не более, изящнейший кавалер, искусный фехтовальщик, немного поэт – более по части эпиграмм, немного музыкант – исключительно по части серенад, – и гениальный политик. Слышал ли ты о нём? как о политике – едва ли, что и подтверждает его талант в этой области.

Полный сил, энергии, ума, патриотизма юноша в Вероне – что может он сделать, как поступить? Встать на стражу исконных прав Монтеки, с сыном которых он дружен? или, не менее исконных, – Капулетти, сын которых тоже не враг ему? или всё-таки послужить герцогу, городу и вере Христианской? к счастью, Меркуцио выбрал последнее. Поставленная им перед собою цель была сложна, задача эта не могла найти разрешения десятилетиями, если не веками: помирить Монтеки и Капулетти, ни больше ни меньше. И он этого достиг, несмотря ни на что – и прежде всего несмотря на пути, которые привели к этому примирению, сгубив пять юных жизней – в том числе и его собственную.

Меркуцио знал людей; Меркуцио любил их и смеялся над ними; он на умел плакать – потому что не нуждался в этом; он чувствовал себя способным управлять людьми с помощью незримых нитей, наподобие базарного кукольника. Замысел его был прост: соединить семейства браком; замысел его был почти невыполним, почти невыносим. И всё же он берёт своего юного друга, лепечущего о какой-то Розалинде или Розамунде, под руку, надевает на него маску и вводит в дом Капулетти на бал. Он направляет его взгляд, нашёптывает ему слова, обостряет его чувства – и один из главных героев задуманной им благородной комедии уже готов для своей родины. С Юлией ему пришлось труднее, как сам он мне признавался – не на исповеди, просто так, мы ведь были с ним давними друзьями, я помню его ещё мальчиком... Конечно, проникнуть к Юлии и направить её пробуждающиеся чувства в нужную ему сторону он не может; это, однако, не обескураживает молодого миротворца. При его цели (и его образе мыслей) грех прелюбодеяния – не грех; он сходится с женщиной на семь лет старше себя, бывшей кормилицей Юлии и её ближайшей наперсницей – и вскоре, благодаря этой понятливой женщине, в доме Капулетти в свою очередь рождается любовь – перед самой свадьбой с князем Парисом! Но что Меркуцио до Париса? Последний не может ему пригодиться, и наш кукловод от него отделяется – конечно, не своими руками. Собственно говоря,

Меркуцио вовсе не желал князю смерти – он предпочёл бы с его стороны просто обиду и разрыв с невестой, но судьба распорядилась иначе, и он принял это как должное. И вот, покачивая тем коромыслом, которое кукольники моего детства называли вагой, он направляет двух влюблённых марионеток в объятия друг друга.

Но объятий мало – нужен брак, поначалу хотя бы тайный; и вот Меркуцио приходит ко мне, своему доброму знакомому, и объясняет мне положение. Я отвечаю, что не могу пойти на это, не предупредив детей о грозящих им опасностях брака; Меркуцио, засвистав, говорит: «Пожалуйста, отец мой: скажите им всё, что думаете, а потом обвенчайте». Так в конце концов и вышло.

Тогда же он предупредил меня, задумчиво раскачиваясь на табурете:

– Ромео слишком горяч, и главная моя цель сейчас – удержать его от какого-нибудь столкновения с будущими свойственниками. Он выделил – моими стараниями – Юлию из всех остальных Капулетти, как алмаз среди кремней; теперь мне нужно доказать ему, что кремни – это тоже неплохо и, во всяком случае, представляют ту же самую породу, которая произвела на свет не только Юлию, но и его самого. Если это удастся, если он поймёт равенство Монтекки и Капулетти, наш труд можно считать завершённым, и мой любезный дядюшка, герцог, благословит эти проклятые семейства, когда они сойдутся в дружеском кругу на свадьбе.

– Ты делаешь хорошее дело, сын мой, – искренне ответил я. Меркуцио повернулся вокруг собственной ост на табуретке и озабоченно заметил:

– Естественно; но дело может повернуться и иначе. Любовь – прекрасный способ объединения врагов, однако имеются и другие – увы, здесь, кажется, больше ни один не подходит, а надо бы подстраховаться. Корыстолюбие? и те, и другие слишком уж рыцари; завидую твоим соотечественникам в Венеции, отец мой – там бы эта низменная страсть пригодилась. Страх? их ненависть сильнее любого страха: если на Верону двинется войска короля Франциска, Монтекки и Капулетти доблестно выйдут на поле боя в полном составе, на противоположных флангах и, разбив француза, воспользуются случаем перерезать друг друга. Тщеславие? оно-то и опасно, оно-то и есть корень зла – эта их ржавая честь, не позволяющая подать друг другу руки... Остаётся одно – смерть.

– Чья смерть? – в ужасе спросил я. – Кто должен, по-твоему, умереть, сын мой?

Он снова повернулся вокруг себя самого на табурете и заявил:

– А никто. Зачем умирать доблестным и достославным Монтекки и Капулетти? Но вот узнать, что вражда их может у них отнять, погубить самое дорогое... – и он, вынув из кармана склянку с сонным зельем, поведал мне свой план, который я попытался потом воплотить в жизнь – но уже без помощи Меркуцио и, увы, неудачно... Впрочем, он счёл бы это удачей.

Наконец, ещё раз описав круг на собственном седалище, он добавил уже совсем угрюмо:

– Вся сложность в другом, отец мой... Старики Монтекки и Капулетти мне безразличны – я стараюсь отнюдь не ради них, но ради отечества. Беда в том, что я всё-таки очень люблю этого лопухого обормота Ромео, я друг ему, а это сильно усложняет всё дело... Если эта дружба внезапно прорвётся в моём сердце, то наверняка в самый неподходящий момент – и тогда всё пойдёт на смарку... а может, и нет, но кончится гораздо хуже, чем мне хотелось бы. Как было бы здорово, если бы Ромео был мне чужим! А так я уже лет семь дружу с ним и учу уму-разуму; да и девочку, кстати, тоже жаль – куда им без меня? Ну да время покажет, – и он простился со мною.

Что показало время, тебе известно: Ромео сошёлся на поединке с братом Юлии, Тибальдом Капулетти; Меркуцио, не в силах смотреть на это, как равнодушный секундант или тем более как привычный веронский обыватель, с детства наблюдающий эту бесконечную грызню, бросился разнимать их – и по оплошности Ромео шпага Тибальда вонзилась в грудь миротворца. Когда я подоспел к месту трагедии, там уже лежал труп Тибальда – Ромео не сдержался, – и умирающий Меркуцио, бормочущий, кусая атласный рукав своего наимоднейшего, как всегда, дублета: «Чума на оба ваши дома», а также и некоторые иные слова, приводить которые здесь я не считаю допустимым. Потом, когда я склонился к нему, чтобы выслушать исповедь и причастить умирающего Святым Дарам, он коснулся моего лица цепенеющей уже рукою и прошептал:

– А всё-таки выйдет по-моему, вот увидишь, святой отец! Я не успею сейчас исповедаться, эта проклятая шпага пропоролла меня насквозь, как вертел поросёнка, но я уповаю на милосердие Господне и на слова Его: «блаженны миротворцы...» – он уронил голову в пыль и больше уже не шевелился – мёртвый кукольник рядом с мёртвой марионеткой.

Да, конечно, мёртвый, и мне очень жаль его; мне очень жаль и всего происшедшего впоследствии, увы, не без моего участия... но мне всё время кажется, что и при участии Меркуцио. Кукловод умер, но словно из-за гроба продолжал управлять вагой, и в конце концов марионетки соединились в том заключительном танце, который заканчивает любую кукольную комедию или драму – когда Арлекин, Сбир, Доктор, Коломбина и Капитан, бывшие враги и соперники, водят на сцене мирный хоровод... только вот куклы легко воскресают для этого, а люди – нет...

И вот в Вероне спокойствие, и Монтекки ходят к Капулетти на поминки, а Капулетти рассказывают Монтекки, какая у нас была замечательная девочка, и герцог Эскал, оплакав Париса и Меркуцио, а заодно обоих детей с Тибальдом, удовлетворённо устроился на своём престоле посреди умиротворённого города... Кажется, всё хорошо, если не считать могил?

Но всё же мне тревожно, Бассанио: мне всё время чудится, что я вижу нити, протянувшиеся куда-то от наших рук, ног, губ, умов и сердец; мне кажется – о Боже! – что Некто, держащий эти нити, так же бесстрастен, как стремился быть Меркуцио, иначе бы он, не

совладав с собственным сердцем, затруднился бы и с пьесой – он лишён сострадания, милосердия, любви, он только направляет нас на путь греха или добродетели – и где же она, наша свобода воли, о которой сейчас идут чуть ли не вооружённые прения там, на Севере?.. Я в смятении, Бассанио, я больше не могу писать. Может быть, мне следовало остаться купцом... понимаешь, я всё время проставляю «он» с маленькой буквы, как и пристало писать о нечистом, но рука моя невольно стремится (подчиняясь, быть может, некой нити?) вывести «О» прописное... И, может быть, лучше быть чёртовой куклой, чем...

На этом письмо обрывается и выбрасывается братом Лаврентием в камин, а сам он становится на колени и начинает истово молиться, перебирая чётки и хлеща так называемой «дисциплинарной» плетью по своим узким плечам. Мы ничем не можем помочь ему; самое большее, что нам оказалось под силу – это восстановить сгоревшее послание, но мы не уверены, что это хоть сколько-нибудь утешило бы бедного монаха. А посему, дабы не угрызаться его мукой, мы снимаем с полки том Шекспира и, постепенно успокаиваясь, перечитываем великолепный монолог Меркуцио о королеве Маб, где (гораздо короче и красивее) изложен весь его план.

## УЧЕНИЦА

Я памяти людской не доверяю,  
Но если кто-нибудь через века  
И вспомнит о последней Клеопатре,  
То – чтоб одну загадку разгадать:  
Зачем я повернула корабли  
И увлекла Антония из битвы,  
Лишая и короны полумира,  
И жизни, в сущности, обоих нас?  
Меня учил владычествовать цезарь,  
А царствовать училась я сама,  
А у Антония – любить училась,  
И он тому же – у меня; и сдал  
Экзамен этим бегством. Мы достойны  
Друг друга были. Почему же мне  
Ещё теперь так больно, что не хочет  
Учиться у меня Октавиан?  
Не знаю. Первый в жизни раз – не знаю...  
Что? Фрукты? Дай корзину и ступай.

## НАСЛЕДНИК

Ну что ж, дорогой Горацио, по-моему, похороны удались на славу. Моя речь, возможно, была немного суховата, но приходится экономить для коронационной – я-то в университетах не обучался, так что оратор скверный. Зато ваше прочувствованное выступление, бесспорно, растрогало всех присутствующих – особенно вот это место, как там... «Хотя Лаэрт, разумеется, вполне достойный человек...» и т.д. Ваша речь плюс мои гарнизоны – теперь приверженцы Лаэрта нам абсолютно не опасны; сам он тоже не мог бы оказаться большой угрозой, без Полония-то за спиной (этот иммигрант не простил бы мне своей родины), но мог бы сыграть на вашем датском патриотизме. А так – хвалю. Похоже, что вы действительно привязались к покойному принцу? Так я и полагал. Да нет, не смущайтесь, мне это вполне понятно – я ведь сам с ним однажды беседовал.

Ага, вы удивлены? Я, которому вы столько лет сообщали тайны датского двора, знаю о Гамлете что-то неизвестное даже вам? Всеведущим, Горацио, может быть только Господь Бог, а после него – король, запомните это. А не агент. Не хмурьтесь – в возмещение я удовлетворю ваше любопытство, хотя вы и не решаетесь высказать его вслух.

Где я встретился с Гамлетом? Когда король Клавдий отправил его в Англию в сопровождении Розенкранца и Гильденштерна, чтобы он нечаянно погиб там принародном волнении в процессе сбора Датской Дани, молодого человека, как мне сообщили – между прочим, вы же – по дороге захватили в плен пираты. Я очень удивился, получив это ваше донесение, – викинги берут в плен личность, называющую себя Датским принцем, отвозят прямо к столице, становятся на рейде и посылают гонца в Эльсинор с сообщением, что за принцем, а заодно и за ними, могут явиться стражники или те же гвардейцы Марцелло. Не правда ли, странный для разбойников поступок? Как же объяснил его вам Гамлет? никак? Так я и думал. Пираты пиратам рознь, дорогой мой Горацио. Одни плавают под «Весёлым Роджером», а другие вовремя поднимают норвежский флаг и честно именуют себя корсарам. Это был именно такой случай. И привезли эти ребята свою добычу, разумеется, не прямо в Эльсинор, а сперва в мою ставку в Польше.

Я был рад встретиться с ним лично – и по вашим донесениям он всегда представлялся мне особой небезынтересной, и сам я не мог не провести некоторые параллели. Его отец и мой отец воевали, Гамлет-старший одолел и получил во владение часть спорной территории. Мне было пять лет, Гамлет-младший только родился. Потом я живу при дворе законного отцовского наследника, моего дяди, и учусь уму-разуму. Гамлет, в свою очередь, учится вместе с вами уму-разуму в Виттенберге, а потом его отец следует за моим, и он оказывается точно в таком же положении.

А я уже тогда, после смерти старого Датчанина, подумывал о реванше – землю-то покойный получил пожизненно, а не в родовое владение после того ледового побоища. И, как вы знаете, сделал вывод, что о мести может подумывать и мой датский сверстник, а кому мстить – это я знал лучше него и успешно доказал при помощи той замечательной штуки с призраком: вы проявили редкую изобретательность, а его любимый актёр, ту, который потом играл короля в «Убийстве Гонзаго», – немалый талант. Таким образом, наше положение окончательно уравнено.

И тут мой дядя заявляет, чтобы я не вздумал воевать с Данией и что король Клавдий, конечно, не старый Гамлет, но и я – не ровня моему отцу. Пришлось смириться, выговорить у Клавдия коридор для похода на Польшу и так далее.

У принца Гамлета положение было сложнее – для него-то дядя был не авторитет, а лютей враг. Честно говоря, я очень надеялся, что он немедленно поднимет мятеж, вроде как попытался Лаэрт, и тогда раздираемая гражданской войною страна сама, как наливное яблочко, упадёт нам в руки... ну, вы же были в курсе. Но тут принц проявляет редкую предусмотрительность: он не мстит, понимая, что доказать массам после цареубийства свои благородные побуждения ему удастся разве сто с помощью призрака (а он не знал, как их делают), а скорее всего все решат, что он просто поторопился получить по лестничному праву наследования отцовскую и дядину корону. И вот, как человек интеллигентный, понимает, что это несколько некрасиво и может не снискать всеобщего одобрения... в том числе и со стороны сопредельных монархов: мои войска как раз проходили через Данию на юг... И вот он начинает свою игру, старается сдерживать себя, изобличить короля и явиться праведным мстителем без малейших укоров совести и общественности.

Знаете, Горацио, как высоко я вас ни ценил, но у меня мелькнула мысль, что принц найдёт в себе силы, даже не ведая о сущности призрака, отказаться от мести, как отказался я, – хотя бы чтобы не огорчать матушку, ну, и не рисковать. Но тут Клавдий вздумал отправить его погибать за морем (он тоже соображал, что к чему), а принц об этом узнал (ведь это вы сообщили ему содержание письма к английскому королю, не так ли?). И вот тут, когда стало ясно, что ему придётся сражаться уже не только за паять отца, но и за собственную голову, он делается решительнее – как там вы писали? «Готов отдать всё, кроме своей жизни, кроме своей жизни»? Ну вот.

И тут мои корсары – в самом деле случайно – захватывают его в плен и доставляют ко мне. Мы сидим в шатре на барабанах и беседуем. Очень интересно беседуем. Я даже узнал раньше всех (включая их самих), что «Розенкранц и Гильденштерн мертвы». И знаете, Горацио, он мне очень понравился, наш Гамлет! Он оказался действительно умён, несмотря на высшее образование. Мы потолковали по душам, рассмотрели все те аналогии, о которых я вам упоминал, и тут Гамлет поступил так, как я, может быть, и не решился бы. Он сказал мне:



– Фортинбрас, теперь я понял, что до вашего уровня мне не дорасти. Я не могу отступить от мести. Наверное, из меня получится плохой король.

Я вежливо, но сдержанно возразил, однако он отмахнулся:

– Нет, Фортинбрас, теперь я вижу – до вас мне не подняться, легче уж опуститься до уровня какого-нибудь неистового Лаэрта. И мне очень горько от этого. Так горько, что теперь я готов отдать всё, включая мою жизнь, чтобы поскорее покончить с этим... даже жизнь, не говоря о короне, для которой найдётся более подходящая голова, и я постараюсь, чтобы они не разминулись.

Я пожал ему руку.

– Но как, – воскликнул принц, – мне сохранить последнее – честь? Как стать тираноубийцей, а не цареубийцей, мстителем, а не претендентом, прогрызающим себе дорогу к престолу? Как изобличить короля?

– Принц, – ответил я, – неужели вам так важно, что подумают о вас всякие Озрики и Лаэрты?

– Отец велел мне отомстить. А за его тайную гибель нужно мстить явно и искренне...

И тогда, Горацио, я сам не знаю, что на меня нашло, – но я решил рискнуть. Я предложил ему план с постановкой «мышеловки», обещал прислать актёров, которые как раз были у меня под рукою после английских гастролей, даже заметил, что один из них лицом и статью очень похож на его отца... Не знаю, понял ли он меня; по-моему, понял. Но не подал виду, поблагодарил, и мы обсудили весь план – вплоть до того, чтобы я, вернувшись из Польши и проходя мимо Эльсинора, подал ему салютом сигнал: «Я уже здесь!» День в день так всё и получилось.

Не огорчайтесь, что он не рассказал вам об этом, – ему было очень важно, что думаете о нём именно вы... к счастью.

Кстати, я так и не понимаю, почему вы сообщили мне, что принц тучен и одышлив? прекрасный боец, вы в этом убедились, а я понял с первого взгляда. Лаэрт, конечно, напрасно не удосужился больше чем оцарапать его своей шпагой и так положился на яд – Гамлет-то чуть не пополам его развалил, и не подозревая ни о какой отраве, да и потом не слишком в неё верил – короля проткнул наповал, прямо в сердце. Он был настоящий рыцарь, принц-рыцарь, Горацио, такие не любят верить в яд. Как его отец был королём-рыцарем... тоже себе на погибель.

Но Гамлет опоздал. Время королей-рыцарей погребено с нашими отцами, сейчас нужно править совсем иначе. По-моему, это и заставило его лезть на верную смерть и завещать корону мне. А в коронационной речи мне ведь ещё предстоит повторить, что с его гибелью Дания лишилась замечательного монарха и доказывать потом, что я не хуже... помогите-ка мне подготовить это заявление, Горацио, вы человек образованный. Я буду лишним раз вам обязан. Вот и прекрасно.

Постойте, Горацио! Вы идёте не к той двери. Да, я знаю, что там ваш кабинет, но я же сказал, что обязан вам – а тем, кому обязан,

и столь многим, король, приходится работать, к сожалению, совсем в других местах. Нет-нет, я же не тиран – вовсе не собираюсь казнить вас или вливать через тюремщика какую-нибудь гадость в ухо, что вы! Вас будут прекрасно обслуживать, все удобства – только полная секретность. Двору уже объявлено, что сразу после похорон вы отбыли в Германию, не в силах более переносить эту страну-тюрьму, по выражению покойного принца... Не сомневаюсь, что мы ещё не раз побеседуем ко взаимному удовольствию, а так – не обессудьте.

Марцелло! Проводите арестованного.

## НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Опять над Эльсинором полночь бьёт,  
Опять на башне смена караула,  
И лишь слова пароля по-норвежски  
Бросают часовые сквозь туман.

Глядит в огонь угрюмый Фортинбрас,  
И жёсткими углами жестяными  
Топорщится лицо: вчера расстрелян  
Горацио – он слишком много знал.

На кладбище, на мраморные плиты  
На каменные латы, крылья, складки  
Стекают струи серого дождя,

И призраки покойных королей  
Прижизненные обсуждают счёты  
И по привычке говорят по-датски.

## НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ

*Его высочеству Лиру, бывшему королю Британии, и её величеству Корделии, королеве Галлии, в тюрьму, совершенно секретно*

Зная ваш нрав – высокомерие отца и брезгливую гордость дочери – я имею основания опасаться, что вы, не читая, разорвёте это письмо – послание того Эдмунда Глостера, который разгромил ваши войска и пленил вас; у её величества имеются на то и некоторые иные основания. Тем не менее я не советовал бы вам так поступать; это не угроза, хотя вы в моих руках, и податель сего может предать вас смерти прежде, чем герцог Альбанский успеет вмешаться и предъявить обвинение одному – в государственной измене (с последующим заточением в Бедлам), а другой – во вторжении без объявления войны в пределы Британии (с последующим тюремным заключением в надежде на выкуп королём Галлии). Впрочем, на последнее рассчитывать также не приходится – ниже будут изложены причины странного поведения галльского короля.

Итак, вам пишет Эдмунд, усыновлённый бастард герцога Глостера (как мне стало известно, уже покойного) и наследник его титула. Враги мои, подобно вам, если нуждаются в выяснении истоков моего нрава (коварного, жестокого, мятежного и т.д. и т.п., не так ли?), как правило, объясняют это именно тем, что долгие годы я, старший отпрыск Глостера, был ущемлён в правах собственным отцом, который ещё подростком спровадил меня в Галлию – якобы для совершенствования в науках. Это была ошибка.

Что ж, латынью я действительно овладел, постиг многие галльские наречия и германские языки, чувствуя, что такие познания могут оказаться необходимы тому, за чьей спиной стоят не два вельможных рода, а только один, и то готовый в любую минуту отречься от старого греха. Девять лет, девять долгих лет за Проливом, вдали от матери, которую Глостер даже не допускал в замок, от младшего брата – чистокровного наследника, от британского двора, от вас, госпожа – лишь однажды мне довелось встретиться с вами перед отбытием на чужбину, и вы, казалось, не заметили меня, а я, пятнадцатилетний мальчишка, запомнил навсегда... Впрочем, это были всего лишь пустые мечты переходного возраста – и ничем иным быть не могли.

Тем не менее заморский студент был взыскан вниманием и милостью вашего будущего супруга, сперва дофина, а потом короля Галлии; я был приближен к его особе, к его канцелярии, его двору – между прочим, именно благодаря его сватовству и визиту в Британию к королю – ещё королю – Лиру Глостер решился, наконец, признать меня если не законным наследником, то хотя бы

побочным сыном: всё-таки я возвратился в свите могущественного государя...

Он умён, смел и благороден, король Галлии и ваш супруг, сударыня; он честный человек, кто иногда приводит к столь же печальным результатам, сколь и вздорность – прошу прощения – бывшего британского монарха; и он знает это. Во всяком случае, я оказался бесполезен ему, а мне с ним повезло чрезвычайно: там, в Лютеции, я понял, что совершенно необязательно иметь за собою череду чистопородных предков, чтобы быть хорошей охотничьей собакой; а затем уразумел и то, что достоинства такой собаки отнюдь не исчерпываются преданностью – ею можно пренебречь или оставить для дворняжек, борзой же необходимо уважать хозяина, умело делающего своё дело, чтобы верно служить ему. Впрочем, королю я был предан искренне – он снизошёл до меня, поднял из грязи, даже предлагал за казённый счёт отправить на Юг для повышения образования где-нибудь в Этрурии или Сицилии. (Совсем как Глостер – только тот отделялся от ненужного ему человека, а король хотел повысить ценность того, кто может ему пригодиться...). Туда я, однако, предусмотрительно не поехал – ни морем, ни через земли бургундского герцога, с которым галлы не слишком ладили, – зато постарался побольше узнать о событиях, происходящих в чужих странах; о реформах элина Ликурга, о величественных гробницах и храмах египтян и не в последнюю очередь – о государственном перевороте в Альба Лонге.

Этот переворот очень заинтересовал меня: в нём почудилось что-то знакомое. Принцесса рождает близнецов от неведомого отца, чуть ли не от самого Марса, а её отец, старый король, изгоняет дочь и бросает младенцев в лесу на произвол судьбы; те вырастают, вскормленные молоком волчицы, узнают о своём происхождении (или оно проявляет себя само), – и возвращают себе по праву принадлежащий престол и место в истории; потом один из них гибнет от руки другого, а этот другой, по имени Ромул, основывает многообещающий город... Не слишком ли много совпадений для бастарда-изгнанника, питаемого на чужбине млеко Французской Волчицы, или, если угодно, Марсовым Волком?..

Правда, в меня в помине не было близнеца – мой младший брат, согласно закону, выше которого в то время могла оказаться только прихоть короля Лира, наследовал титул и земли, оказываясь тем самым в стане моих обидчиков – вместе со своим отцом. Да, Эдгар – мальчик добрый, благородный и неглупый, это я понимал: он согласился бы выплачивать мне некоторый пенсион, как выплачивал его отец моей матери. Но именно в силу своей незыблемой честности пред законом он ни за что не поступился бы тем, что причитается ему, не разделил бы имения, не нарушил майората – может быть, даже стал бы защищать закон против самовластия Лира...

На это последнее мне и приходилось рассчитывать в ту пору, когда я осмелился отправить вам, сударыня, своё первое письмо – вам, любимице короля Лира, готового исполнить любой ваш каприз

и расправиться с непокорившимся ему. Конечно, здесь был не только расчёт, но расчёт не мешал мне никогда. Никто не догадывался, что послания галльского монарха, в которых он столь пылко объяснялся в любви, написаны вот этой рукою – никто, кроме вас, уже знакомой с моим почерком по первому объяснению, перелетевшему пролив.

Слишком поздно узнал я, что ваше величество проговорилось о нашей тайне самому неподходящему человеку – шуту Лира; а ведь только из этих вот строк, вероятно, вам станет известно, что не было человека в Британии, который был бы влюблён в вас горячее, чем этот несчастный, едва не умерший от огорчения после вашей опалы и отъезда. Или вы всё-таки знали об этом? Тогда вам должно быть известно и то, чего не ведаю я сам: куда делся шут после того, как вместе с королём и неизвестным (как выяснилось теперь – никем иным, как опальным Кентом) прибыл в вашу ставку в Довер? Если вы доживёте до следствия, которое собирается проводить герцог Альбанский, то, естественно, заявите, что шут был бургундским шпионом; учтите, что у меня имеется в запасе достаточно доводов, чтобы опровергнуть подобную напраслину – потому что и я, сложись судьба моя иначе, мог бы оказаться на его месте...

Однако довольно об этом. Король – если он слушал вас, когда вы читали предшествующий абзац, если услышал и если ещё хоть что-то соображает, – знает теперь, почему вы столь охотно отправились в Лютецию, а не в Арелат. Теперь пора открыть ему ещё более удивительную загадку: почему вас, бесприданницу, всё же взял в жёны повелитель Галлии, идя тем самым на заведомый разрыв дипломатических отношений с Бургундцем и ставя под сильное сомнение союз с разгневанным Лиром? И ответ этот будет ещё любопытнее для почтенного старца.

До поры до времени я обдумывал историю Ромула и Рема, как если бы они были сыновьями герцога Глостерского; неудивительно, что вскоре я стал прикидывать, как сложилась бы моя собственная судьба, родись я сыном не герцога Глостерского, а если не самого Марса – это было бы кощунство! – то какой-либо другой персоны, которая двадцать с лишним лет назад вела крайне беспорядочный образ жизни и в то же время находилась на недосыгаемой для моей матери впоследствии высоте. Этими размышлениями я, как бы в шутку, поделился с королём Галлии; он, однако, принял их к сведению со всей серьёзностью. В результате, как только мы вступили на Британский берег и прежде чем отправиться к отцу в свите короля с подобающей торжественному случаю неторопливостью, я в сопровождении двух лиц бесспорно благородного происхождения, галла и британца, отправился к матери, в богадельню при храме Венеры Эссекской.

Мою несчастную мать мы застали уже при смерти – во всяком случае, через несколько дней она скончалась, и у меня нет оснований предполагать, что причиной тому послужила нескромность кого-либо из свидетелей. В присутствии жрицы храма

и упомянутых двух лиц я потребовал, чтобы она ответила мне, поклявшись Венерою и Юпитером, действительно ли я принадлежу к роду Глостера. «О нет, сын мой, – прошептала матушка, – Глостер – всего лишь слепец и развратник. Не от его семени ты зачат; отец твой – король Британии Лир, в чём и клянусь Юпитером и Венерою Эссекскими и Глостерскими». Признание сие зафиксировано письменно, заверено свидетелями и печатью храма и хранится в недостижимом для вас, но лишь для меня и для короля Галлии месте. Я – первородный отпрыск мужеского пола короля Лира Британского и, за неимением других наследников того же пола и благородной крови, – единственный законный его преемник.

Теперь вы понимаете, сударыня, почему Галла так мало заинтересовала утраченная вами часть королевства? у него под рукою уже был человек, который после акта отречения вашего (и своего) отца мог считаться королём всея Британии и притязать на тройной венец с большими правами, чем какая-либо особа вашего пола. Сообщу кстати, что и после этого повелитель Галлии, весьма обрадованный результатами наших изысканий, тайно продолжал расследование любовных связей Лира Британского; в течение месяца 14 молодых людей и девушке, согласно показаниям их матерей под самой страшной клятвою и с готовностью на суд божий посредством калёного железа, огня и воды, а также 29 подростков обоего пола, чьи матери не решились дать подобные гарантии, выявлено и зафиксировано нашими службами. Если герцог Альбанский или ваши сёстры собираются претендовать на Британскую корону, у них найдётся немало соперников, но старший из них – я.

Вот так обстояли дела к тому времени, как Лир отрёкся от престола, я был официально усыновлён Гластером и принят ко двору, а вы, сударыня, стали королевой Галлии не только как дочь отрекшегося британского монарха, но и, не ведая о том, как единокровная сестра законного монарха сей страны. Но мне ещё предстояло занять положение, которое оказалось бы достаточной основой для дальнейших притязаний в самой Британии. Мой так называемый брат Эдгар попал в немилость у своего отца и бежал (ходят слухи, что он помешался, ходят и другие, не более опасные для меня). Мой так называемый отец, этот ослеплённый самомнением и убеждённостью в собственной неотразимости рогоносец, был и самым буквальным образом ослеплён по приказу герцога Корнуэльльского и вашей сестры Реганы. Эта последняя вступила в сговор с Гонерильей и добилась сначала сокращения дружины короля-отца, затем – свиты, а затем и его безумия. Одновременно обе сестры, сами не ведая о том, воспылали кровосмесительной страстью к своему и вашему брату; рад сообщить вам, что герцог Корнуэлл скончался не от царапины мечом (этот челядинец моего «отца», ранивший герцога, мне хорошо знаком – ему больше восьмидесяти лет и он хилого сложения от природы), а от тщательного ухода своей супруги. Я не удивлюсь, если ко времени получения вами этого письма за

герцогом последует ещё кто-нибудь из наших родственником и свойственников. Мне не жаль никого из них – слишком много отнято было у меня с детства Глостером, Эдгаром, всеми этими герцогами и принцессами крови, и прежде всего – моим отцом, сидящим сейчас и раскачивающимся в такт чтению...

Мне жаль только вас, сударыня. Потому что чувство, диктовавшее те объяснения из Галлии и не имевшее, как вы убедились на месте их написания, ни малейшего отношения к тамошнему монарху, – чувство это, наперекор крови, до сих пор живо в моём сердце – сердце генерала Британской Союзной Армии, герцога Гластерского, тайного пэра Франции и грядущего короля Британии, Эдмунда I, сына Лира! Я хочу спасти вас, спасти вас, спасти – и не дать погубить себя. Я не собираюсь позволить себе ничего дурного, что мог бы осуществить человек, имеющий сейчас столько власти над вами и столько грехов на совести – вы моя сестра и моя королева, королева Галлии.

Ведь это я вызвал депешей вашего супруга – одновременно с тем вестником, который вручил призыв о помощи от Кента или, как полагают некоторые, Эдгара, вам. Это я встретил его в Довере, загнав трёх коней по дороге туда и трёх – по дороге назад, в ставку Союзнической Армии. Это я предложил королю Галлии срочно отбыть назад в связи с беспорядками на юге и сведениями о тайном сговоре между Ромулом Римским и герцогом Бургундским – и он ушёл, оставив несколько сот не лучших своих ратников под команду недоумевающей супруги. Это я, наконец, поднял забрало среди боя, чтобы вы увидели моё лицо и прочли всё написанное на нём = и вы прочли, могу поклясться, потому и стали, рухнув без чувств, столь лёгкой добычей моих гвардейцев. И это я, в тот же момент, успел поймать тот ответный ваш взор, который никогда не смогу доказать перед людьми, но который видели боги; если бы не чувство, таившееся в нём, вы не попали бы в плен, если бы не это чувство, вы не читали бы сейчас этот длинный свиток, если бы не оно – мой воин, ожидающий сейчас у тюремных дверей, уже прикончил бы и вас, и вашего отца без суда и следствия, из алчной преданности своему генералу (который не худшим образом – вы не можете не признать этого – проявил себя сегодня в сражении).

Венера свидетельница словам моим – Юпитер свидетель, что последующие слова говорит вам уже не лживый и доведённый судьбою до подлости и хитрости байстрюк Глостера, а ваш брат, честный рыцарь и грядущий король. Верьте им.

Итак: я предлагаю вам вернуться к вашему супругу или представлять его интересы в Британии при моём дворе; последнее менее желательно как потому, что противно всем обычаям королевских браков, так и потому, что мне – а вы знаете, что и не мне одному, – такое соседство будет мучительно. Итак, вы снова займёте престол Галлии; герцогство Корнуэльльское лишится владельца бездетного и переходит к короне как выморочное; герцогство Альбанское лишится своего не позже завтрашнего рассвета; обе вдовы, ваши сёстры, перегрызут друг другу горло –



полагаю, что у вас достаточно уже оснований не сомневаться в этом. Ваш супруг, возвратившись со всею военною силою, признает главу британской армии, Эдмунда сына Лира, законным монархом этой страны; я коронуюсь официально, британско-галлский союз скуёт весь Запад в единую неодолимую цепь. Мы с вашим супругом раздавим Бургундию; мы раздавим франков, Этрурию, Иберию; Рим станет нашим союзником, а если Ромул задумает воспрепятствовать этому, то будет раздавлен и он. Что касается нашего злосчастливого отца, то ему будет обеспечено надлежащее содержание – я не желаю больше мстить, я не убийца более, но воин и король. Он будет жить где-нибудь в моих владениях со всеми удобствами, окружённый почестями, какие возможно оказать отрекшемуся и недееспособному монарху-безумцу. Вот один вариант, предлагаемый мною на ваше усмотрение.

Второй бесконечно горше для нас обоих – но вы понимаете, что этого послания не должен увидеть никто. Вы погибнете, даже если это будет стоить мне дружбы с королём Галлии (хотя едва ли он пойдёт на войну с Британским Союзом или со мною теперь, после того как я разбил его отряды одним ударом моей гвардии, как в равном поединке, пока основные силы Альбанца и Реганы стояли поодаль, с мечами в ножнах). Естественно, что в этом случае по вашим стопам отправится и отец – к нему я не питаю больше ничего, кроме презрения, но он – помеха на моём пути; впрочем, если Лир признает меня своим сыном и наследником, у него появится шанс на спасение, но подобное признание в подобных устах может скорее повредить мне и уж во всяком случае не найдёт поддержки ни у Альбанца, ни у ваших сестёр или тех из них, кто останется в живых к тому времени. Нет, за жизнь Лира я в нынешнем положении ручаться не могу.

В нынешнем? Нет-нет – вы ещё читаете этот свиток, вы ещё можете изменить его, вернуть себе престол, отцу – почёт, мне... я ничего не прошу у вас. Но послушайте моего совета, заклинаю вас! Я не хочу вашей гибели, тем более – от руки этого пса, который ждёт у дверей вашего решения. Если вы передадите ему эту грамоту, начертав на ней – ДА, и отошлёте ко мне назад – вы спасены, а я счастлив. Если моё предложение неприемлемо, если вам не жаль ни себя, ни отца, – о вашем муже или о вашем несчастном, как ни смешно это звучит, брате я не говорю, – то уничтожьте письмо, дабы оно не обесчестило наш род в глазах всех, кому попадётся в руки, и постарайтесь... постарайтесь... о Юпитер Британский, постарайтесь хотя бы, чтобы ваша кровь не обагрила недостойных рук этого сторожевого пса! Всё необходимое лежит под соломою в углу камеры... кинжал и верёвка... Но будьте благоразумны, ради всех богов, будьте благоразумны, возлюбленная моя!.. сестра.

Эдмунд, сын Лира Британского.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В чужой постели, на сырой подушке,  
Чужими пожираемый клопами,  
Он умирает; над опавшим брюхом  
Вздывается нелепо простыня.  
Товарищи сейчас орут и пьют  
(За исключением одного), и паж  
Последний, грустный, обречённый мальчик  
Блюёт – он даже не успел привыкнуть...  
А тот, единственный из всех, ни разу  
Не захмелевший, сколько бы ни выпил –  
Наверное, вернулся во дворец  
И, сняв свою недавнюю корону,  
Рубец на лбу устало потирает...  
Мой сын, мой Гарри, мой король! – Не мой...  
«Я не желаю знать тебя, старик!» –  
И Ним прокукарекал троекратно,  
И оттолкнул гвардеец...

В добрый путь,  
Ты прав, мой мальчик – королевский сын,  
Законнейший наследник, не бастард,  
Не Фоконбридж – ты должен был отринуть  
И старика, и молодость свою,  
Ты должен, не оглядываясь, ехать  
И превращаться в статую героя,  
И я тебе не нужен... никому  
Не нужен...

И гвардейца не виню –  
Когда-то сам я, юный, стройный, бравый  
Скакал близ молодого короля  
И отгонял других – а тот, усатый,  
Угрюмо ехал на чужом коне, –  
И конь ему послушно подчинялся,  
Предав бывшего ездока... Как Гарри  
Меня сегодня предал.

Что ж, пуская,  
Теперь тебе нельзя уже шататься  
По кабакам, нельзя дарить другим  
Победы над своими двойниками –  
Ступай за лаврами, а я уйду  
Гораздо раньше и гораздо дальше,  
Тебе дорога в рай, а мне – едва ли...  
И поп соборовал, и все грехи  
Скостил – а всё равно немного страшно,  
Хотя когда-нибудь мы непременно  
Увидимся – и спившийся Бардольф,  
И синий, только с виселицы, Ним,

И паж, убитый пьяным мародёром  
В обозе – и король мой Генрих Пятый,  
Мой Гарри...

Только ты меня и там  
Знать не захочешь: мол, квод лицет бови...  
Забыл, как будет дальше. Всё равно:  
Мы – два последних рыцаря; за нами  
Придут уже совсем другие люди –  
И погребальной жертвой упадут  
В резне и распрях, на мужицких вилах  
(Я это помню...), как над Александром  
Великим... Это ты мне рассказал  
Об Александре, Гарри? Нет; не важно...

Ему подносят кубок – он впервые  
Отказывается движеньем век:  
Довольно, – и испуганная сводня  
Глядит смущённо. Руки старика  
Тревожно обирают одеяло,  
А губы шепчут про зелёный луг –  
Зелёный луг, просторный и весёлый,  
Куда ступает толстая нога  
Легко, как никогда.

Не слышно пушек,  
Не слышно рёва пьяных мертвецов,  
Не слышно ничего... танцуют молча  
Усатый обезглавленный шотландец,  
Пробитый чьей-то шпагою датчанин,  
И девушка с цветами, и арап,  
Какой-то дряхлый сумасброд в короне,  
Какие-то мальчишка и девчонка  
Влюблённые – а он идёт сквозь них,  
Как сквозь мираж, весёлый, грубый, грузный,  
Не чувствуя, как ноги ледяные  
Ощупывает дальняя рука,  
Вновь полный жизни –

И ему навстречу  
Шагает столь же плотский и живой,  
Чуть лысоватый лицедей, кого-то  
Напоминающий ему... Ах да!  
«Ну, здравствуйте, сэра Джон!» –  
«Ну, здравствуй, Вилл».

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Жизнь – как будто хроника Шекспира,  
Персонаж не знает, где конец.  
Две ли части, три или четыре –  
Молодость. Война. Шуты. Венец?

Скоро предстоит кончаться акту,  
И уйти блестяще надо как-то,  
И окончить белый монолог  
Зарифмованною парой строк.

А не смог закончить – так успеешь.  
За спиною занавес упал.  
А в антракте думать ты не смеешь –  
Кто задумался – тот и пропал.

И стоишь на сцене, будто в раме.  
В хронике спокойнее, чем в драме.  
Знаешь, что окончится антракт,  
За антрактом – следующий акт.

Словно по накатанному тракту –  
Тронный зал. Тюрьма. Кабак. Венец.  
Ты к последнему подходишь акту,  
Но не видишь, что в конце – конец.

## ЧЕСТНЫЙ ЯГО

*Резиденция турецкого генерала Мухаммад-паши*

ПАША

Я жду уже которую неделю –  
И не могу дождаться. Мне доносят:  
На Кипре смута, возмущенье, бунт,  
Венецианцы глотки рвут друг другу,  
И что ни день – то новый поединок...  
И всё же неприступна Никозия.  
Покуда эта чёрная собака,  
Проклятый мавр, у них за коменданта,  
То даже если Кипр огнём сгорит –  
Ему не быть турецким. Генерал  
Отелло стоит всех венецианцев –  
В любых чинах и с самой белой кожей  
А мой лазутчик всё ещё молчит,  
Ни слуху от него, ни духу. Скверно,  
Коль он попался; вдвое, втрое хуже,  
Коль он заговорил у них под пыткой:  
Проклятый мурын дожа убедит  
Немедленно послать людей к султану,  
И иль начнётся гиблая война,  
Или я сам расстанусь с головою,  
За то, что негодяй проговорился...  
Но что такое? Яго! Наконец-то!

ЯГО

Да, это я. Привёз приветы с Кипра.

ПАША

В каком ты виде, драгоценный Яго!  
Ей-богу, я едва тебя узнал:  
Весь синий, в шрамах, без руки, хромой...

ЯГО

Меня едва там не колесовали.

ПАША

Отелло разгадал, откуда ты?

ЯГО

Нет.

ПАША

Что ж тогда?

ЯГО

Отелло больше нет.

ПАША

Как – нет? Как – нет? Да говори скорее!

ЯГО

Он мёртв – и сам он, и его жена,  
И этот жирный идиот Родриго.

ПАША

Какой ещё Родриго?

ЯГО

Я писал –  
Который деньгами снабжал меня,  
Покуда Порта не прислала платы.  
А впрочем, было поздно – все динары  
Ушли на подкуп стражи. Я бежал  
От Грациано – он теперь на Кипре  
Всем заправляет: глуп, как три осла,  
Упрям и похотлив. Галерам вашим  
Очищена дорога – Никозия  
Бессильна даже Яго удержать,  
Чтоб мстить за генерала.

ПАША

Так Отелло

Пал от твоей руки? Тебе её  
За это отрубили, бедный Яго?  
У нас ты сразу был бы на колу.

ЯГО

Он сам себя зарезал. Я же знал,  
Что даже самый опытный убийца  
Не совладеет с чёрным генералом.  
На белом свете лишь один мужчина  
Мог поразить Отелло – сам Отелло.  
Я нашептал ему: «Твоя жена  
Влюбилась в молодого лейтенанта».  
Он не поверил – я достал улики,  
Я сети сплёл, кап4каны и силки  
Расставил генералу с Дездемоной.  
И он убил её. Когда ему  
Сказали, что жена была невинна,  
Он полоснул себя мечом по горлу.  
Я выполнил задание, не так ли?

ПАША

Ты нам на блюде преподносишь Кипр!  
Ты много претерпел, но я сумею  
Тебя вознаградить за эту службу –  
За каждый шрам я дам по сто динаров,  
За каплю крови – по дирхему; руку  
Отлить тебе из золота велю!

ЯГО

Не все потери возместишь деньгами.

ПАША

Да, ты там, у Отелло, был унижен,  
Был прапорщиком – я похлопочу,  
Ты будешь юзбаши! Нет, минбаши!

ЯГО

Я о другой потере говорю.  
Я погубил наветом Дездемону,  
Но, я тебе признаюсь, Мухаммад,  
Губил, совсем не думая о службе  
И долге – нет, из ревности губил,  
С обиды, что она седого негра  
Предпочитала мне. Теперь... мне... стыдно.

ПАША

Ты слишком щепетилен, милый Яго.  
Какая разница, о чём ты думал?  
Отелло мёртв – ну и хвала Аллаху,  
А о его жене забудь. Да ты  
Женат ведь, кажется?

ЯГО

Моя жена

Узнала как-то то, чего не надо,  
И разболтала кое-что, и мне  
Пришлось её убить. Но успокойся,  
Паша: она не знала наших планов  
И говорила только обо мне.

ПАША

А ты её – любил?

ЯГО

Я к ней привык.

Она была жирна, глупа, болтлива –  
И всё же для меня была семьёй.  
Кто знает, может быть, потом и дети  
У нас пошли... Любил я Дездемону...

Но это всё значенья не имеет –  
Во всяком случае, для нашей службы.

ПАША

Ты прав. Послушай, Яго, ты умён  
Не веришь ни в шайтана, ни в Христа –  
Прими же мусульманство! Я тебе  
Найду трёх жён, прекраснейших в Измире,  
Наложниц и рабынь – и ты забудешь  
О прошлом. И тебе родят детей  
Все эти женщины... А тех – забудь!

ЯГО

И рад бы – не смогу. Дай мне, паша,  
Клочок земли, да дом, да виноградник;  
Возьми мой меч, возьми мои доспехи,  
Оставь себе динары и дирхемы,  
Обещанные мне. Я не хочу  
Служить, как прежде.

ПАША

Ты сошёл с ума!

Перед тобою все пути открыты!  
Ты станешь капуданом, адмиралом!  
Тебя представят самому султану –  
Я этого добьюсь через везира!

ЯГО

Не нужно. Всё. С меня довольно крови.  
Я ухожу в свой тихий виноградник  
И буду там беседовать с тенями  
Тех двух. Я об одном тебя прошу:  
Когда на Кипр нагрянут янычары,  
Пусть не тревожат трёх могил: Отелло,  
Его супруги и моей жены.  
Теперь прощай. И доложи везиру,  
Что Яго честно выполнил свой долг  
И ради долга стал таким мерзавцем,  
Каких земля рождает раз в сто лет.  
Прощай, паша. Я без руки – не воин,  
Без сердца – не жених, и не политик.  
Лишь совесть всё ещё живёт во мне,  
Но тут ты не сможешь.

ПАША

Погоди!

Ушёл... Ну что же, пусть себе уходит.  
Какой он странный, этот честный Яго!



## ФРА ЛОРЕНЦО

Ромео, нас сейчас никто не слышит –  
Ни Джулия, ни даже сам Шекспир,  
И я скажу, но только по секрету:  
Люби, мой мальчик, только не женись!

Я для тебя – безвестный францисканец,  
Который вам, влюблённым, помогает,  
А кем я раньше был – сутана скрыла;  
Но я тебе об этом расскажу.

Бывает часто: в монастырь уходит  
Блестящий кавалер или разбойник,  
От сбиров прячась или кредиторов,  
Меняет имя – а в душе всё тот же!

Я даже имени не изменил:  
В миру, давно, я тоже был Лоренцо,  
Венецианский молодой повеса,  
Весёлый, глупый и богатый купчик.

Я был влюблён. А если ты не веришь –  
Спроси Шекспира, будь он трижды проклят –  
Который любит выводить на сцену  
Красивую любовь по-итальянски.

Я был влюблён – и как! Я даже впрямь  
Стихами говорил моей красотке:  
«В такую ночь, Дидона...» и т.п.  
Шекспир не лжец; но любит умолчать.

Я был влюблён. Она была еврейкой,  
Её отцом был Шейлок-ростовщик,  
Скупой и гордый, как и все они,  
Богатый, верующий и зловредный.

Я с Джессикою, дочерью его,  
Бежал; она с собою прихватила  
Отцовские червонцы, а потом  
Крестилась, а потом со мной венчалась.

Мы зажили с ней вместе. Постепенно  
Характер молодой моей жены  
Стал изменяться, и она всё больше  
Напоминала своего отца.

Нет-нет, евреев я не осуждаю,  
Погромы, анекдоты – это грязь,  
Как, впрочем, и междоусобье в этом  
Несчастном городе. Но суть не в этом.

Моя супруга стала католичкой,  
Была почти верна и многодетна, –  
Но так горда своим перерождением!  
Но так самолюбива, так скупа!

Я был плохим купцом. По доброй воле  
Я отдал лавки ей на управление.  
Доход был – в месяц тысяча цехинов;

Я получал их пять на всё по всё.

Я заскучал. Я Джессику любил,  
Не изменял ей; и любил детей,  
Но думал, что они вполне достойны  
Есть леденцы не только в воскресенье.

А Джессика считала по-другому:  
Пусть ходят в трижды штопанных чулках,  
Но в сундуке им копится наследство.  
Оно копилось. Детям было грустно.

О ласках я давным-давно забыл,  
Ей было не до них: сперва хозяйство,  
Потом хозяйство и в конце – хозяйство.  
Она была хорошей, только – слишком!

Не буду говорить, как я махнул  
На всё это рукою и подался  
В монахи, всё добро оставив ей –  
Нет повести печальнее на свете!

Мой мальчик, я с тобой вполне согласен,  
Что Джулия сейчас – почти что ангел,  
Что вы друг друга любите, вам трудно  
И я вам должен помогать во всём.

Но не женись, мой дорогой Ромео,  
А то потом об этом пожалеешь!  
Ты сердишься? Ну бог с тобой, как хочешь...  
Но грустным будет этот брак, боюсь.

## ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ

Прощай, Лаэрт, друг детства моего,  
Моих забав ребяческих товарищ!  
Судьба для нас сегодня – божество:  
И я тебя, и ты меня ударишь.

Прощай, Лаэрт! Ты мстишь мне за отца –  
Пусть месть твоя послужит мне примером.  
Ты прям, как шпага, что разит сердца  
Коллеблющимся мудрым маловерам.

Твоя сестра и мне была сестра  
И даже больше – только как докажешь?  
Судьба – такая грубая игра,  
Что никогда заветного не скажешь.

Прощай, Лаэрт, и яда не стыдись –  
Нельзя нам рисковать сыновней мезтью.  
Ударь меня; убей – и тем гордись,  
Что в хитрости не поступился честью.

Прощай, Лаэрт! Я предпочёл тебе  
Горацио, учёного педанта...  
Ты знал одно – как победить в борьбе,  
Но это тоже требует таланта.

Сегодня ты убьёшь иль я убью –  
Я милосердия не обещаю...  
Мы, как мальчишки, всё решим в бою.  
Прости ж меня, как я тебя прощаю.

Прощай! Сегодня мы с тобой уйдём  
И растворимся в круговерти смерти,  
Но если там и вспомню я о ком –  
То о тебе, отчаянном Лаэрте.



Успела пройти холера, сельдь ушла из залива  
И два года не возвращалась. Кто мог, бежал из страны.  
Говорили, что мёртвый король является брату  
И отдаёт приказы. Это, конечно, чушь.

Ты натаскивал войско. Солдаты тебя любили —  
Те, кто не дезертировал. По вечерам читал.  
Завёл, наконец, собаку.

Слушал байки о призраках,  
Но никогда их не видел — да и не верил в них.

Дяде вдруг сообщили, что ты готовишь вторжение  
В соседнее королевство, стремясь отомстить за отца.  
Недаром же принц недавно, как ему доложили,  
Перевёл «Андромаху» на норвежский язык!

Дядя устроил истерику; он был испуган донельзя;  
Дал двадцать тысяч золотом, выделил два полка:  
«Отправляйся-ка в Польшу, или куда подальше,  
Мне не нужны претенденты на мой законный престол».

Серое войско грузилось на суда взвод за взводом.  
Собаку пришлось оставить. Хмурые рыбаки  
Почему-то были уверены,  
что ты отправляешься в Данию —  
Мстить за великого воина, покойного короля.

Высадиться действительно пришлось вблизи Эльсинора —  
Чистенькая и плоская приветливая страна,  
Знатную молодёжь тут посылают в Париж учиться,  
А потом она возвращается — только представьте себе!

Народ рассказывал байки о безумцах и призраках,  
Здесьний король предоставил тебе свободный проход.  
На армию совершенно не обращали внимания —  
Не больше, чем на актёров, приехавших на гастроль.

Серое войско двигалось, но не слишком поспешно —  
Ты дышал полной грудью, как выбравшись из тюрьмы.  
Лазутчики сообщали: в замке не всё в порядке.  
Штабные твердили, что эту возможность нельзя упускать,

Что твой отец никогда бы не пренебрёг реваншем,  
Что вся Норвегия знает, как мезтью пылает принц...  
Столпились, как тени умерших,  
бубнили, кольцо смыкая.  
Кулаком ударив по карте, ты поднялся и повёл.

Замок стоял без охраны до самого главного зала.  
Челядь с недоумением косилась на твой доспех.  
В зале лежали мёртвые — четверо или трое.  
Одного из них, кажется, ты уже где-то встречал.

Ты подобрал корону, лежавшую возле трупа,  
И с удивлением понял, что эта страна — твоя.  
И можно не возвращаться. И призраков больше нету.  
Зато тут библиотека, и псарня, наверно, есть.

Четверо капитанов привычно взялись за носилки;  
Грамотей, довольно унылый, твой зачитал манифест;  
Пушки салютовали — и в похоронном марше  
Труба так чисто и звонко приветствует новый день.

2012 г.

## МАСТЕР

*Из Р. Киплинга*

Засидевшись за выпивкой в "Русалке",  
Он рассказывал Бену Громовержцу  
(Если это вино в нем говорило –  
Вакху спасибо!)

И о том, как под Челси он в трактире  
Настоящую встретил Клеопатру,  
Опьяневшую от безумной страсти  
К меднику Дику;

И о том, как, скрываясь от лесничих,  
В темном рву, от росы насквозь промокший,  
Он подслушал цыганскую Джульетту,  
Клявшую утро;

И о том, как малыш дрожал, не смея  
Трех котят утопить, а вот сестрица,  
Леди Макбет семи годков, их мрачно  
Бросила в Темзу;

И о том, как в субботу приунывший  
Стратфорд в Эвоне выловить пытался  
Ту Офелию, что еще девчонкой  
Знали повсюду.

Так Шекспир раскрывал в беседе сердце,  
Обручая на столике мизинцем  
Каплю с каплей вина, пока послушать  
Солнце не встало.

Вместе с Лондоном он тогда, очнувшись,  
Вновь помчался гоняться за теньями;  
А что это пустое, может, дело,  
Сам понимал он.